



К
А
Й
Д
А
Н
Ы

Лафкадио Хирн

И

РИЗРАКУ
• И ЧУДЕСА

В СТАРИННЫХ ЯПОНСКИХ СКАЗАНИЯХ

Лафкадио Хирн
Призраки и чудеса в старинных
японских сказаниях
Кайданы

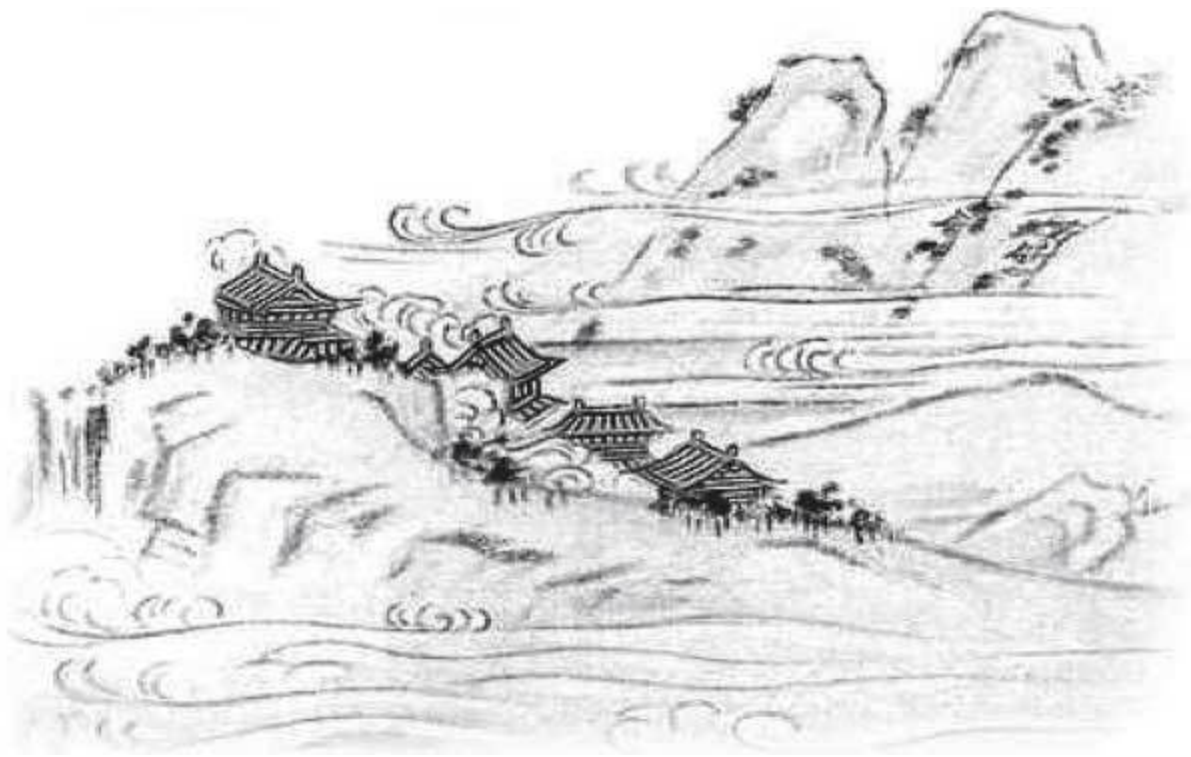
Lafcadio Hearn

GHOST STORIES AND STRANGE TALES OF OLD JAPAN

© Перевод, ЗАО «Центрполиграф», 2017

© Художественное оформление, ЗАО «Центрполиграф», 2017

* * *



Предисловие

Вскоре после смерти Лафкадио Хирна его вдова, японка, составила список того, что он «любил больше всего на свете». Список получился любопытный и может многое поведать об этом человеке. К примеру, в списке есть закаты, запад, лето, море и купание, банановые деревья, японский кедр, Мартиника, народные песни, кайданы (рассказы о дѹхах), бифштексы, насекомые и заброшенные кладбища. Еще Хирну нравились сливовый пудинг, натопленные комнаты, простодушные люди и Герберт Спенсер^[1]. Каталог ненавистных ему вещей оказался бы куда длиннее, но миссис Хирн привела лишь некоторые из них: ложь, притеснение слабых, длиннополые сюртуки, накрахмаленные сорочки и город Нью-Йорк. Описать легко продолжить: он на дух не переносил многие проявления западной цивилизации и прежде всего западный индустриализм – шум, машины, толпу и суету, дым и грязь, жуликов, болтунов и почти всех людей, с которыми ему приходилось поддерживать деловые отношения. Хирн был нелюдимым, своенравным, неугомонным, вспыльчивым, верным в дружбе и болезненно обидчивым. Он не умел ладить с теми, кто не разделял его взглядов, и большую часть жизни провел в яростной борьбе с препонами и неприятностями, на которые обладатели менее буйного темперамента обращают мало внимания, быстро приучаются терпеть, а со временем и вовсе не замечать. Умер он в возрасте пятидесяти четырех лет, оставив на земле горстку преданных друзей, гораздо больше заклятых врагов и дюжину книг, навсегда обеспечивших ему достойное место в истории английской литературы.

Хирн, имевший склонность к непредсказуемым поступкам, редко жил по правилам, и судьба этого человека не менее колоритна, чем его личность. Он родился 27 июня 1850 года на острове Святой Мавры^[2] у побережья Греции. Его отец был ирландцем, служил врачом в британской армии. О матери – гречанке – говорили, что она отличалась сказочной красотой и мятущимся, неугомонным духом. Лафкадио всегда считал, и, возможно, не без оснований, что все свойства характера он унаследовал именно от нее, а не от отца. Когда мальчику было шесть лет, семья переехала в Дублин, родители вскоре

поссорились, мать сбежала с кавалером, своим соотечественником, и больше о ней ничего не слышали. Отец, не теряя времени, женился во второй раз, после чего сослал сына к богатой и весьма эксцентричной двоюродной бабушке. Через несколько лет Лафкадио отвезли в Ашоу, деревню в английском графстве Дарем, где определили в католическую школу (по той причине, что двоюродная бабушка, дама с причудами, незадолго до этого обратилась в католичество). В школе новичок быстро прославился успехами на уроках английского и презрением к авторитетам.

Однажды во время игры однокашник раскрутил в воздухе веревку, и ее свободный конец случайно хлестнул Лафкадио по лицу. Травма оказалась настолько серьезной, что он навсегда ослеп на один глаз. Мальчик и без того был близорук, а нагрузка на второй глаз со временем еще сильнее ослабила зрение, так что всю оставшуюся жизнь его преследовал страх полной слепоты.

В семнадцать лет Лафкадио разорвал отношения со своей попечительницей и уехал в Лондон. Там он прожил два года в ужасающей нищете – этот период, видимо, оставил слишком неприятный след в его душе, потому что впоследствии Хирн старался о нем не вспоминать.

Незадолго до двадцатилетия он отправился (или был отправлен) в Америку, в Цинциннати, где кто-то из дальних родственников пообещал обеспечить ему денежное содержание. Но обещание не было выполнено, и бедный молодой человек в городе на берегах Огайо попал в ту же ситуацию, что некогда привела его в лондонские трущобы. Ненадолго он нашел приют в заброшенной котельной на пустыре, потом пожилой соотечественник по имени Генри Уоткин разрешил ему спать на пачках бумаги, сложенных на задворках своей типографии, а позднее Хирн смог позволить себе настоящую роскошь – койку в грязной ночлежке.

В Цинциннати он провел восемь лет, и, вероятно, это было самое важное время в его жизни. Именно там нелюдимый полуслепой бродяга впервые обнаружил в себе способности к литературному творчеству и понял, что благодаря им сумеет заставить окружающий мир обеспечить его средствами к существованию и даже добьется пусть не громкой, но доброй славы. Вскоре после приезда в Америку Хирн взялся за сочинительство. Однажды вечером, преодолев свою

нелюбовь к общению, он отнес несколько рукописных страниц редактору местной газеты. Его рассказ опубликовали, и Хирн продолжил сотрудничество с этим изданием. Теперь у него были свой стол и стул в углу редакторского кабинета. За несколько недель он превратился в предмет обстановки: невзрачный парень в потрепанной одежде утром проскальзывал в редакцию незаметно, как тень, и весь день, до темноты, писал, склонившись над листами бумаги, ничего не видя и не слыша вокруг.

Через год Хирн сделался звездой местной журналистики и получил профессиональное признание как лучший репортер в своем жанре. А жанр был необычный. Хирн писал атмосферные отчеты о кровавых событиях, повергавших горожан в ужас. У него лучше, чем у кого-либо из корреспондентов в Цинциннати, получалось удовлетворять страсть публики к жутким подробностям несчастных случаев, убийств и всякого рода проявлений насилия. Одно небывало жестокое убийство с последующим частичным сожжением трупа в заводской печи он описал столь бойко и красочно, что этот криминальный случай прогремел на весь штат. В течение нескольких лет Хирн упорно совершенствовал свой макабрический стиль, но с возрастом, оглядываясь назад и вспоминая трудолюбиво собранную коллекцию ужасов, он стал называть заметки, написанные в те дни, грехами литературной молодости.

В Цинциннати Хирн обрел уверенность в своем таланте, обзавелся добрыми знакомыми среди газетчиков, много читал и писал, а в свободное от работы время вел странную жизнь, о которой даже его малочисленные друзья имели смутное представление. Он без особого почтения относился к правилам приличия западного общества, всегда проявлял интерес к таинственному и необъяснимому, стремился побольше разузнать о диковинных обычаях и легендах других народов. Именно этот интерес спустя двадцать лет стал причиной появления «Кайданов». И в середине 70-х годов XIX века в городке в штате Огайо он тоже не давал Хирну покоя. Репортер заинтересовался жизнью негритянской колонии на берегу реки, начал пропадать по вечерам в тамошних салунах и ночных барах, смотрел и слушал, наблюдал местных жителей за работой и в часы досуга, видел их танцы и перебранки, был очарован их музыкой, песнями и природной, первобытной сексуальностью. Мало кто из уважаемого белого

населения Цинциннати мог понять и одобрить подобное увлечение. О Хирне начали болтать, что в личной жизни он заводит связи исключительно с негритянками, а надменный ирландец, презиравший любые условности, даже не потрудился опровергнуть или подтвердить эти слухи. Однако в конце концов неприязнь благопристойного общества, а также любовь к теплу и природе южных широт вынудили Хирна покинуть Цинциннати, и в 1887 году он перебрался в Новый Орлеан.

О формировании Хирна как писателя можно сказать, что годы его ученичества прошли в Цинциннати, а в Новом Орлеане он нашел применение таланту и обретенным навыкам, интеллектуально развивался, оттачивал стиль, и впоследствии результаты этой работы в полной мере отразились в книгах, написанных им в Японии и являющих собой образцы литературы высочайшей пробы. В Новом Орлеане Хирн прожил десять лет. Когда он туда приехал, в городе его никто не знал; когда же он покинул Новый Орлеан, фамилия профессионального журналиста уже прославилась на весь Юг, а сотрудничество с газетами Восточного побережья положило начало его всеамериканской известности. Последние годы в Новом Орлеане, вероятно, стали единственным периодом в биографии Хирна, когда он был абсолютно доволен жизнью дольше нескольких месяцев подряд. В 1881 году его приняли в штат «Таймс демократ», где он попал в круг единомышленников. Хирн стал «специальным корреспондентом», и никто не препятствовал ему удовлетворять свою страсть к таинственному и необъяснимому. Он переводил с французского книги современников и предшественников, писавших об экзотических странах и обычаях; изучал восточную литературу на предмет затейливых историй и легенд – и тоже переводил их, затрачивая уйму времени и сил, чтобы передать на английском языке богатый колорит оригиналов.

В Новом Орлеане Хирн наконец-то обзавелся компанией близких по духу друзей. Кроме того, он терпеть не мог холод, и здесь, гуляя летом по раскаленным солнцем улицам, наслаждался жизнью. Но, как ни парадоксально, именно близость Нового Орлеана к тропикам спустя десять лет стала причиной расставания Хирна с этим городом. Знойные ветра резвились над заливом, рынки пестрели россыпями экзотических фруктов, портовые переулки кишели сошедшими на

берег матросами с торговых судов из дальних стран, и Хирн сгорал от желания изведать неизведанное. Он уехал из Нового Орлеана, провел месяц в Нью-Йорке – к этому городу у него навсегда сохранилось величайшее отвращение, – а затем в марте 1887 года отплыл на корабле в Вест-Индию.

Поначалу тропики поразили его и превзошли все ожидания. Письма Хирна с Мартиники переполнены радостью человека, который после долгих поисков обрел то, что долго искал, и теперь уверен в своем безоблачном будущем. Но судьба всегда подбрасывала ему проблемы в самый неподходящий момент. Вот и теперь беда нагрянула, когда он чувствовал себя в полнейшей безопасности. Да и темперамент не позволял неугомному ирландцу долго оставаться на одном месте в тишине и спокойствии. Он прожил на своем райском острове всего несколько месяцев, когда неприятности вдруг посыпались одна за другой: болезни, побочные эффекты климата, оказавшегося слишком жарким для того, чтобы можно было плодотворно работать, отказ в оплате нескольких статей, отправленных им в редакцию, и навязчивые мысли о том, что издатели постоянно его обманывают. И все же именно на Мартинике Хирн написал свою первую значительную книгу – «Два года во французской Вест-Индии», – публикация которой поспособствовала его растущей славе. Однако финансового успеха она ему не принесла, и Хирн, снова попав в бедственное положение, провел несколько ужасных месяцев в Филадельфии и Нью-Йорке, подрабатывая внештатно в разных печатных изданиях и пытаясь играть роль литературной знаменитости невысокого полета. Гордость и упрямство не позволили ему признать свое поражение и вернуться к налаженной, уютной жизни в редакции новоорлеанской газеты. Что удивительно, предложение приехать в Японию, чтобы написать ряд познавательных очерков в духе тех, что составили его книгу о Мартинике, Хирн поначалу встретил без энтузиазма. Он усомнился в своей способности понять японцев, обладателей куда более сложного менталитета, чем у простодушных детей тропиков, и решил, что понадобятся годы наблюдений и сбора материала, прежде чем ему удастся рассказать читателям о Японии. Кроме того, ведь придется пересечь полмира, чтобы очутиться в совершенно незнакомой стране... Тем не менее зимой 1890 года Хирн отважился на это путешествие. Тогда он считал, что его ждет обычная журналистская

командировка на два-три года, не более того. Однако пребывание писателя в Японии затянулось на четырнадцать лет и закончилось лишь с его смертью.

Едва ступив на землю острова, Хирн понял, что останется здесь надолго. Он никогда не отличался благоразумием и вскоре после прибытия ухитрился испортить отношения с редакцией журнала, заказавшего ему серию очерков. Договор был расторгнут, в результате Хирн оказался без средств к существованию в чужой стране, где его никто не знал. При этом мрачные перспективы не помешали ему восторженно заняться исследованием нового, диковинного мира, в который он попал. Месяц спустя Хирн написал Джозефу Танисону, давнему другу из Цинциннати:

«Страна... преисполнена упоительного очарования. В художественном отношении это один огромный музей. В плане общественного устройства и природных условий – воистину «земля фей», сказочное царство. Да и сами японцы с первого взгляда производят впечатление сверхъестественных существ, добрых фей... Их религия мгновенно захватила мое воображение и надолго завладела мыслями. Я с головой ушел в буддизм – совсем не тот буддизм, что описан в книгах. Эта вера проникнута глубочайшей нежностью, она трогательна, наивна и бесконечно прекрасна. Я присоединяюсь к толпе паломников на подступах к великим храмам, звоню в огромные колокола и воскуряю благовония перед улыбающимися богами...»

Все оставшиеся четырнадцать лет жизни Хирн продолжал в буквальном и в переносном смысле воскурять фимиам во славу улыбающихся богов древней Японии. Он быстро понял, что эта страна являет собой широчайшее поле деятельности для человека с его талантами и склонностями. Ведь в центре его интересов всегда находились чужие верования, обычаи и мировоззрения. Писать путевые заметки и научные монографии о политическом устройстве, экономике и истории страны Хирн предоставил другим авторам. Для его цели больше подходил жанр немногословных, но точных зарисовок, изобилующих уникальными деталями, которые можно было неспешно и терпеливо накапливать, чтобы в итоге явить читателю емкую, но четкую и всеобъемлющую картину повседневной жизни людей, мозаику с вкраплениями фольклора, национальной литературы и религии. В Японии Хирн нашел неисчерпаемый клад

письменных текстов и усердно изучал их до конца своих дней. Его метод познания чужой культуры, особый взгляд на нее и сам стиль повествования не замедлили привлечь внимание читателей. Первая книга Хирна о Японии вышла в 1894 году, через четыре года после его приезда на острова. Она нашла небольшую, зато благодарную аудиторию. И эта аудитория медленно, но верно росла с появлением каждой из одиннадцати книг, опубликованных при жизни автора. И пусть тиражи так и не смогли обеспечить финансовое благополучие Хирну и его семье, он прожил достаточно долго, чтобы принять похвалы от самых взыскательных умов Америки и Британии и увидеть зарождение своей литературной славы, которая уже тогда обещала пережить его на многие годы.

Основные события в жизни Хирна на Японских островах хорошо известны. Через несколько месяцев после прибытия он получил место школьного учителя в провинции Идзумо, и годы, проведенные там, были весьма плодотворными; помимо прочего, он принял окончательное решение навсегда остаться в Японии и женился на юной представительнице старинного самурайского рода. Из Идзумо Хирн перевелся в Высшую школу Кумамото, а спустя еще несколько лет занял должность профессора английской литературы в Токийском императорском университете, где вскоре заслужил репутацию блистательного преподавателя, – бывшие студенты до сих пор вспоминают о нем с благодарностью.

Таким образом, во время пребывания в Японии все свои способности и энергию Хирн посвящал выполнению двух задач. В классах и студенческих аудиториях он старался дать японским ученикам надлежащее представление об истории и традициях английской литературы, привить им любовь к лучшим ее произведениям, а в свободное время часами напролет увлеченно работал над книгами, пытаясь донести до западного читателя строгую красоту японской культуры, которая его завораживала. Вопреки всему – слабому здоровью, постоянной угрозе слепоты, мизерному доходу от изданных книг и несовершенству японской системы школьного образования, лишившей его должности учителя, – Хирн выполнял свою двойную миссию с таким мастерством и самоотдачей, что иначе как подвигом, высшим проявлением человеческого мужества и интеллекта, это нельзя назвать.

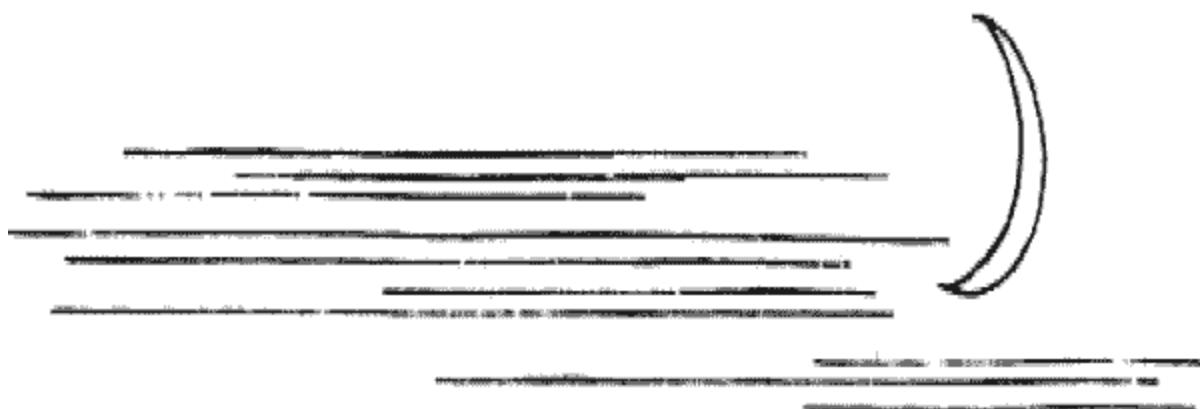
«Кайданы» стали предпоследней из написанных Хирном книг и последней опубликованной при его жизни. Эта книга была издана в апреле 1904 года; автор умер пять месяцев спустя, 16 сентября, когда Japan: An Attempt at Interpretation («Япония. Попытка осмысления») еще не вышла из печати.

Хирн начал работать над «Кайданами», прожив в Японии больше десяти лет, – первоначальный бурный восторг к тому времени уже поутих, теперь писатель был ближе знаком с этой страной и лучше понимал ее обитателей. Но богатейший японский фольклор по-прежнему вызывал у него восхищение. Как и в первые месяцы пребывания в Японии, Хирн азартно охотился за диковинными легендами и рассказами о необычных суевериях и с тем же терпением тратил время на то, чтобы перевести свои находки на английский язык со всей возможной точностью. После смерти Хирна его вдова рассказала, сколько усилий он прилагал, стараясь передать на родном языке стиль и атмосферу японских «сказаний о призраках и чудесах», как он просил ее снова и снова разыгрывать сценки из кайданов и ловил каждую ее интонацию, каждое движение, каждый жест. «Увидел бы нас кто-нибудь тогда, решил бы, что мы сумасшедшие», – добавила она.

Читатели этой книги не пожалеют о том, что Лафкадио Хирн проявлял пристальное внимание к деталям и стремился передать дух древних сказаний, ибо в результате он подарил нам собрание кайданов, переведенных с предельной верностью, – другие примеры столь бережного отношения к первоисточникам в английской литературе трудно найти.

Оскар Льюис

Кайданы



Вступление

Большинство собранных здесь *кайданов*, повествований о жутких и сверхъестественных событиях, заимствованы из старинных японских книг, таких как «Ясо-кидан», «Буккё-хаякка-дзэнсё», «Кокон-тёмонсю», «Тама-сударэ» и «Хяку-моногатари». Некоторые сюжеты могут вести свое происхождение из Китая. К примеру, весьма примечательный «Сон Акиноскэ» определенно взят из китайского источника, однако японский сказитель так преобразил и приукрасил чужеземную историю, что она превратилась в его собственную.

Странный рассказ под названием «Юки-онна» я услышал от одного крестьянина из Тёфу в уезде Ниситамагори провинции Мусаси, и он утверждал, что эту легенду в его родной деревне с давних времен передавали из уст в уста. Не знаю, была ли она в Японии когда-либо записана, однако необычное суеверие, о котором в ней говорится, распространено во многих землях на островах и принимает самые причудливые формы.

История Рики-баки разворачивалась на моих глазах, я описал все в точности, как оно и происходило, изменив лишь фамилию богатой семьи, упомянутую старым дровосеком.

История Миминаси Хоити

Больше семисот лет прошло с тех пор, как в Данноуре – «заливе Дан» – близ Симоносэки состоялась последняя битва в долгой войне между домами Хэйкэ и Гэндзи, каковые еще называют Тайра и Минамото. Мужики из рода Хэйкэ проиграли в той битве всё и сами погибли. Не стало их жен, детей и юного императора, ныне известного под именем Антоку-тэнно, а морем в заливе и тамошним побережьем на семьсот лет завладели призраки. Некогда я уже рассказывал о причудливых крабах, там обитающих, – у каждого на панцире можно различить человеческое лицо. Их так и называют – «крабы Хэйкэ» и говорят, что это души воинов из павшего дома^[3]. Однако на берегах Данноуры можно увидеть и услышать еще немало диковинного. Безлунными ночами у кромки воды расцветают тысячи призрачных огней, и бледные язычки пламени водят на волнах хороводы. Рыбаки называют их *они-би*, «демоны-огоньки». Когда же поднимается ветер, с моря доносится грозный ропот, словно где-то там еще бушует сражение.



Сейчас-то Хэйкэ немного утомонились, но прежде они никому не давали покоя. Так и норовили потопить лодки, проходившие ночью по заливу, а уж купальщиков поджидали сутками напролет, чтобы утащить на дно. В надежде утихомирить голодных духов местные жители возвели в Акамагасэки^[4] буддийский храм – Амидадзи, затем поблизости от храма, у самого берега, устроили кладбище, на котором поставили могильные камни с именами сгинувшего в Данноуре императора и его верных вассалов, и исправно проводили буддийские поминальные службы.

С появлением храма и могильных камней Хэйкэ стали меньше безобразничать, однако время от времени всё же позволяли себе что-нибудь учудить, словно напоминая о том, что их духи так и не нашли окончательного покоя.

Несколько столетий назад жил в Акамагасэки слепой человек по имени Хоити, снискавший славу сказителя и мастера игры на биве^[5]. С самого раннего детства овладевал он этими двумя искусствами и в довольно юном возрасте уже превзошел своих наставников. Как о самом одаренном *бива-хоси* о нем говорили прежде всего те, кто слышал в его исполнении сказание о Хэйкэ и Гэндзи. Эти счастливицы утверждали, что, дескать, когда Хоити поет о битве в Данноуре, «даже чудища-кидзины не могут удержаться от слез».

В начале своего пути к славе Хоити был очень беден, однако ему повезло найти доброго друга и покровителя. Настоятель Амидадзи слыл большим поклонником музыки и поэзии и часто приглашал Хоити в храм, желая послушать его игру на биве и сказания. В конце концов, очарованный талантом юноши, он предложил приютить его в храме, и Хоити с благодарностью принял эту милость. Ему отвели комнатку в храмовой пристройке, а в обмен на еду и кров от него требовалось лишь изредка услаждать слух настоятеля музыкальными представлениями, в остальное же время он мог всецело располагать собой.

Однажды летней ночью настоятеля призвали отслужить буддийскую заупокойную службу в доме умершего прихожанина, и он ушел вместе с помощником, оставив Хоити в храме без присмотра. Ночь выдалась знойная, так что слепой музыкант выбрался из своей комнатки, уповая на свежий ветерок. Веранда, примыкавшая к его жилищу,

выходила в садик на задворках Амидадзи. Хоити, усевшись поджидать настоятеля, решил скрасить себе одиночество упражнениями в игре на биве. Минула полночь, а настоятель так и не появился. Жара все не спадала, возвращаться в душное помещение не хотелось, и молодой человек оставался на веранде. Наконец он услышал шаги, приближавшиеся со стороны дальней калитки: кто-то пересек сад, приблизился к веранде и остановился прямо напротив. Но это был не настоятель. Глубоким звучным голосом гость окликнул музыканта по имени – резко и бесцеремонно, будто знатный самурай обращался к простому солдату:

– Хоити!

Молодой человек так растерялся от неожиданности, что не сумел ответить, и тогда в голосе прибавилось командирских ноток:

– Хоити!!!

– Да-да! – выпалил музыкант, совсем оробев. – Я слепой и не вижу, кто меня зовет!

– Не бойся. – Голос немного смягчился. – Я остановился на ночлег неподалеку от храма и прибыл к тебе с поручением. Мой нынешний господин, занимающий чрезвычайно высокое положение, сейчас изволит пребывать в Акамагасэки с многочисленной свитой. Он явился сюда взглянуть на место битвы в Данноуре и сегодня побывал на побережье залива. Узнав о твоём искусном исполнении сказания о том морском сражении, мой господин пожелал услышать тебя. Так что бери биву и следуй за мной в дом, где он тебя дожидается.

В те времена немногие рискнули бы послушаться приказа самурая. Хоити поспешно обулся, взял биву и спустился с веранды.

Незнакомец заставлял слепого идти слишком быстро, но железной рукой ловко направлял его шаги. Хоити слышал, как скрипят и лязгают доспехи; было ясно, что его проводник – воин в полном облачении, возможно дворцовый стражник при исполнении обязанностей. Первый страх уже прошел, музыкант даже сделал вывод, что ему сказочно повезло – ведь, по словам самурая, его господин занимает «чрезвычайно высокое положение», а значит, сказание о битве в Данноуре желает послушать какой-нибудь князь-даймё, не меньше.

Наконец самурай остановился и крикнул:

– *Каймон!*^[6]

Тотчас послышался лязг засовов. Хоити понял, что его привели к огромным и очень широким воротам, но он не мог припомнить в этой части города ничего подобного, кроме главных ворот Амидадзи. Створки между тем отворились, и самурай, все так же держа молодого человека за плечо, зашагал по саду – вероятно, к входу в жилище. Опять остановившись, он громко сообщил кому-то:

– Я привел Хоити!

Тотчас послышался топот, зашуршали раздвижные двери и ставни, зазвучали женские голоса. По манере говорить Хоити распознал служанок из знатного дома, но по-прежнему не представлял себе, где находится. Времени строить догадки молодому человеку не оставили – ему помогли подняться по каменным ступеням, затем велели разуться, и женская рука долго лежала на его плече, направляя сначала по полам из полированных досок – по пути пришлось столько раз огибать деревянные опоры, что и не запомнить, – затем по полам, выстеленным циновками, и наконец Хоити оказался в центре какого-то просторного помещения. Он подумал, что вокруг много богато разодетых людей, – шелка шелестели, как листья в лесу. Еще там звучал едва различимый гул голосов: собравшиеся приглушенно переговаривались, и по обрывкам их бесед можно было понять, что все присутствующие – благородные особы.

Хоити предложили располагаться поудобнее, и он опустился на плоскую подушечку, приготовленную для него. Когда музыкант уселся и настроил биву, женщина – Хоити решил, что это *родзё*, то есть начальница женской прислуги, – обратилась к нему с такими словами:

– Настало время поведать историю дома Хэйкэ под звуки бивы.

Однако подробное повествование о сгинувшем клане должно было занять несколько ночей, поэтому Хоити осмелился уточнить:

– Поскольку сказание о Хэйкэ долго сказывается, какую часть истории сего достославного дома изволят выслушать господу прежде всего?

– Поведай нам о битве в Данноуре, – сказала женщина, – ибо нет ничего печальнее^[2] того события.

Тогда Хоити принялся рассказывать нараспев о яростном морском сражении – и голос его набирал силу, а в звуках бивы грохотали, крушась, корабли, звенели тетивы, свистели стрелы, гремели по палубе сапоги, визжала сталь мечей, ударяя о шлемы, кричали воины и с

громким плеском падали за борт убитые... Когда струны ненадолго смолкали под пальцами Хоити, он слышал восторженные перешептывания справа и слева от себя: «Какой искусный сказитель!», «Даже в нашей родной провинции не слышали такой игры на биве!», «В целой империи не сыщется мастер, равный Хоити!». Вдохновленный такой похвалой, слепой музыкант начинал играть и петь лучше прежнего, и слушатели восхищенно замирали. Когда же рассказ его подошел к самому трагическому моменту – гибели беззащитных женщин и детей – и Нии-но-Ама с малолетним императором на руках шагнула в морскую бездну, все собравшиеся как один испустили долгий, страшный, горестный крик. Вокруг Хоити поднялись плач и стенания. Люди рыдали так громко и безутешно, что слепой сказитель ужаснулся, сочтя себя виновником этой неистовой скорби. Какое-то время он еще слышал причитания, затем постепенно воцарилась тишина, и снова заговорила женщина, которую Хоити считал родзё.

– Все мы были наслышаны о тебе как об искусном мастере игры на биве и непревзойденном сказителе, однако же и представить себе не могли, что человек способен достичь и в том и в другом заоблачных высот, каковые ты явил нам нынче ночью. Наш господин уже пообещал достойно вознаградить тебя, притом он желает, чтобы ты выступал перед ним еще шесть ночей, – по окончании сего срока его милость предполагает отправиться в обратный путь. Стало быть, завтра ночью тебе надлежит быть здесь в тот же час, что и сегодня. Тот же страж будет послан за тобой в нужное время... И еще кое-что мне велено тебе передать. В течение всего пребывания нашего господина в Акамагасэки ты не должен никому говорить о своих визитах сюда, ибо он путешествует тайно и строго наказал всем посвященным не разглашать его личность... А теперь можешь возвращаться в храм.

Хоити должным образом выразил благодарность за оказанный прием, и женская рука повела его к выходу, где уже знакомый молодому человеку воин поджидал его, чтобы отвести в Амидадзи.

Самурай проводил Хоити до самой веранды у его спальни и на том распрощался.

Слепой возвратился домой перед самым рассветом, но его отсутствия ночью в храме никто не заметил – настоятель, и сам вернувшийся под утро, подумал, что музыкант уже спит.

Днем Хоити никто не тревожил, так что у него было время отдохнуть. Он ни с кем и словом не обмолвился о своих ночных приключениях. А в полночь за ним явился тот же самурай и снова отвел к благородному собранию. Второе выступление увенчалось не меньшим успехом, чем первое, однако на сей раз отлучка музыканта не осталась без внимания в храме: кто-то из служителей обнаружил, что Хоити нет в комнатке. Потому утром, едва бродяга вернулся, настоятель призвал его к себе и с ласковым упреком сказал:

– Ну и заставил же ты нас поволноваться, дружище Хоити! Слепому ходить в одиночку по ночам опасно. Почему ты не предупредил нас? Я отправил бы с тобой кого-нибудь из монахов... Что за спешное дело возникло у тебя посреди ночи?

– Прошу простить меня, добрый друг. Но дело и правда было спешное и сугубо личное, так что уладить его в другой час и при свидетелях я, увы, не имел возможности, – уклончиво пробормотал Хоити.

Настоятеля такой ответ скорее удивил, чем обидел. Если молодой человек не хочет ничего рассказывать, значит, что-то здесь нечисто, решил он. Уж не заморочил ли Хоити голову какой-нибудь злой дух? Весьма обеспокоившись этим подозрением, настоятель не стал больше расспрашивать друга, однако втайне велел храмовым служителям присматривать за Хоити и следовать за ним, куда бы он ни направился после наступления темноты.

Той же ночью слепой музыкант снова покинул храм, и служители, спешно запалив огонь в фонариках, двинулись за ним. Но тут, к несчастью, зарядил дождь, темнота сгустилась, и, даже не дойдя до ворот, они упустили сказителя из виду. Хоити шагал на удивление быстро для слепого, да еще по разбитой дороге в ямах и колдобинах, на которой и зрячий замедлил бы ход. Служители разбежались по улочкам расспрашивать владельцев домов, где часто выступал Хоити, но так ничего и не выяснили. Бросив в конце концов тщетные поиски, они побрели обратно в храм вдоль берега и вдруг услышали звуки бивы со стороны кладбища при Амидадзи. Там царствовала тьма, на чью власть посягали лишь призрачные огоньки, всегда выходившие в этих краях поплясать безлунными ночами. Однако служители смело устремились к кладбищу и там при свете фонариков отыскивали Хоити – сидя в одиночестве под дождем напротив могильного памятника

Антоку-тэнно, он играл на биве и читал нараспев сказание о битве в Данноуре. А перед ним, над ним и повсюду вокруг на кладбищенских камнях, как свечи, горели язычки потустороннего пламени. Никогда прежде людским взорам не представляла столь многочисленная рать *они-би...*

– Хоити-сан! Хоити-сан! – заголосили монахи. – На вас навели злые чары! Хоити-сан!

Но слепой будто оглох. Под его быстрыми пальцами бива гремела, гудела, звенела и лязгала, а голос, повествовавший о морском сражении, становился все сильнее и громче. Монахи схватили молодого человека за плечи, заорали ему прямо в уши:

– Хоити-сан! Хоити-сан! Идемте с нами сейчас же! Надо возвращаться!

– Негоже так грубо прерывать сказителя перед столь благородными слушателями! – возмутился Хоити.

Тут уж, вопреки престранным обстоятельствам, служители храма не смогли удержаться от смеха. Уже не сомневаясь, что музыканта околдовали духи, они схватили его, поставили на ноги и потащили за собой в Амидадзи. Там по приказу настоятеля с него немедленно сняли мокрую одежду, облачили бедолагу в сухое, накормили и напоили. Только после этого настоятель потребовал от друга подробных объяснений его странному поведению.

Хоити долго не решался все рассказать. Но в конце концов, осознав, что и правда причинил своему доброму покровителю немало забот и беспокойства, он осмелился нарушить запрет и поведал все, что произошло с той самой ночи, когда за ним впервые явился самурай.

Выслушав, настоятель сказал:

– Хоити, бедный мой друг, теперь ты в большой опасности! Ну почему же ты мне сразу во всем не признался? Непревзойденное мастерство в игре на биве и сказительстве навлекло на тебя страшное несчастье. Знай же, что тебя не принимали в богатом доме, а заманивали на кладбище, где ты и провел все эти ночи среди могильных камней Хэйкэ. Там, у памятника Антоку-тэнно, тебя нашли сегодня монахи под проливным дождем. Все, что ты навоображал себе, было наведенными чарами, за исключением зова мертвецов. Однажды откликнувшись на него, ты предал себя во власть духов. Если откликнешься снова после всего, что случилось, они разорвут тебя на

куски. Но они все равно бы это сделали рано или поздно, при любых обстоятельствах... Увы, следующей ночью я не смогу остаться с тобой – меня опять позвали на заупокойную службу. Но перед тем как уйти, я напишу на твоём теле слова «Ханния-син-кё»^[8] – они тебя защитят.

Перед закатом настоятель с помощником раздели Хоити и принялись кисточками, иероглиф за иероглифом, наносить на его кожу «Сутру сердца». Вскоре священными письменами были покрыты грудь и спина, затылок и лицо, шея, руки, ноги и даже пятки молодого человека. Когда дело было закончено, настоятель дал Хоити последнее напутствие:

– Нынче ночью, как только я покину храм, ты должен сесть на веранде и ждать. Духи снова тебя позовут. Но, что бы ни случилось, молчи, не отвечай и не двигайся, будто ты погружен в медитацию. Если пошевелишься или издашь хоть один звук, духи раздерут тебя в клочья. Не позволяй страху завладеть тобой и ни в коем случае не зови на помощь, потому что тогда уж никто тебя не спасет. Если сделаешь, как я сказал, опасность исчезнет, и тебе уже нечего будет бояться.

Когда стемнело и настоятель с помощником ушли, Хоити послушно уселся на веранде. Биву он положил перед собой, сделал вид, что погрузился в медитацию, а сам думал только о том, как бы не кашлянуть и дышать потише. В полной неподвижности молодой человек провел несколько часов. Наконец с дороги, ведущей к храму, до него донеслись шаги. Кто-то открыл калитку, пересек сад, приблизился к веранде и остановился напротив слепого.

– Хоити! – прозвучал глубокий голос.

Но сказитель лишь затаил дыхание.

– Хоити! – Голос сделался суровым, а затем яростным: – Хоити!!!

Молодой человек безмолвствовал и не шевелился.

– Нет ответа! – возмутился голос. – Непорядок! Ну-ка, посмотрим, где этот человечиска!

По доскам веранды загрохотали тяжелые шаги и стихли совсем рядом с Хоити. На несколько долгих минут, в течение которых музыканту казалось, будто все его тело сотрясается от ударов сердца, установилась мертвая тишина. И вдруг голос прогремел у самого его уха:

– Бива на месте, а бива-хоси я что-то не наблюдаю – лишь два уха висят в воздухе! Теперь понятно, почему он не отвечал – у него же рта нет. Только два уха и остались...

«...Форма есть пустота, и пустота есть форма. Пустота неотличима от формы, и форма неотличима от пустоты. Что есть форма, то является пустотой. Что есть пустота, то является формой. Восприятие, понятие, учение и знание – всё есть пустота. Нет глаз, ушей, носа, языка, тела и разума... И когда спадет пелена сознания, он [взыскующий истины] освободится от всех страхов и за пределами изменчивого мира достигнет нирваны...»

– ...Отнесу-ка я эти уши своему господину в доказательство того, что приказ его выполнен мною в меру сил и возможностей.

В следующее мгновение Хоити почувствовал, как на его ушах сжались чьи-то стальные пальцы – и дернули! Боль была страшная, но музыканту удалось сдержать крик. Тяжелые шаги снова прогрохотали по доскам веранды, на сей раз удаляясь от него, прошуршали по садовой тропинке и стихли за калиткой.

Справа и слева по шее Хоити текло что-то теплое, но он так и не осмелился поднять руку.

Настоятель вернулся перед самым рассветом. Он тотчас поспешил к веранде в саду на задворках храма, взбежал по ступенькам и вдруг поскользнулся на чем-то мокром и липком, а посмотрев под ноги, вскрикнул от ужаса, ибо в свете фонаря увидел, что стоит в луже крови. И тут же свет выхватил из темноты Хоити, сидевшего в позе медитации. Из двух ран на месте ушей молодого человека еще сочилась кровь.

– Бедняга Хоити! – воскликнул перепуганный настоятель. – Что с тобой приключилось? Ты ранен?

Услышав знакомый голос, слепой выдохнул с облегчением – ведь теперь он был в безопасности – и, разразившись рыданиями, сквозь слезы поведал о своих ночных злоключениях.

– Несчастный мой друг! – простонал настоятель. – Это я во всем виноват! Непростительная оплошность! Повсюду на твоём теле мы написали слова сутры, повсюду, кроме ушей! Я доверил эту часть работы помощнику и, решив, что он ее выполнил, не потрудился

проверить – какое ужасное упущение с моей стороны!.. Ох, теперь уж ничего не исправить – мы можем только со всем тщанием обработать твои раны, и сделаем это немедленно. Однако же у тебя есть и повод для радости: опасность миновала, местные духи тебя больше не потревожат.

Благодаря заботам лучшего лекаря раны Хоити вскоре зажили. А его удивительная история передавалась из уст в уста и принесла ему громкую славу. Многие благородные особы приезжали в Акамагасэки специально для того, чтобы услышать этот рассказ в его собственном исполнении, и не скупились на вознаграждение искусному мастеру игры на биве, так что слепой сказитель быстро сделался очень богатым человеком. Но с той страшной ночи все вокруг звали его Безухим – Миминаси Хоити, и только так.

Осидори

В уезде Тамура-но-Го, что в провинции Муцу, жил-был некий Сондзё, большой мастер соколиной охоты. Однажды, в очередной раз отправившись на промысел, он лишь зря потратил время, так и не отыскав дичи. Но на обратном пути в местечке под названием Аканума попались ему на глаза две *осидори* (утки-мандаринки)^[9], плывшие бок о бок по реке, которую он как раз собирался перейти вброд. Убивать осидори – последнее дело, однако Сондзё изрядно проголодался, а потому вскинул лук и выстрелил в птичек. Стрела попала в самца. Перепуганная самочка метнулась к зарослям тростника на другом берегу и исчезла из виду. Удовольствовавшись одной мертвой уткой, Сондзё принес ее домой и немедленно приготовил себе ужин.



Той же ночью ему привиделся странный сон. Будто бы прекрасная женщина вошла в его спальню, приблизилась к изголовью и разрыдалась, да так горько, что у Сондзё защемило сердце. А женщина вдруг закричала на него: «Ах, зачем, зачем ты убил его?! В чем он перед тобой провинился?.. Мы были так счастливы в Акануме, а ты забрал его жизнь! Он ведь тебе ничего не сделал, а ты взял и застрелил его! Да ты хоть понимаешь, что натворил? О, ты и не подозреваешь, сколь жестоко поступил с нами! Ты ведь и меня убил вместе с ним, ибо без моего любезного супруга мне жизнь не мила... Я только для того и пришла, чтобы сказать тебе об этом!» Тут женщина разрыдалась еще громче и горше, и Сондзё почувствовал, что сердце у него разрывается от чужой скорби. А незнакомка, глотая слезы, прочитала стихотворение:

Хи кукурэба
Сасозси моно-о —
Аканума-но
Макомо-но курэ-но
Хитори-ни дзо уки!

«С приходом сумерек позвала я его в обратный путь. Теперь одной мне спать в тенистой заводи Аканумы. О неизбывная печаль!»^[10]

Едва отзвучали эти строки, женщина воскликнула: «Неужто и вправду тебе невдомек, что ты наделал? Тогда приходи завтра в Акануму – и сам увидишь, непременно увидишь!..» Закончив говорить, она жалобно всхлипнула и исчезла.

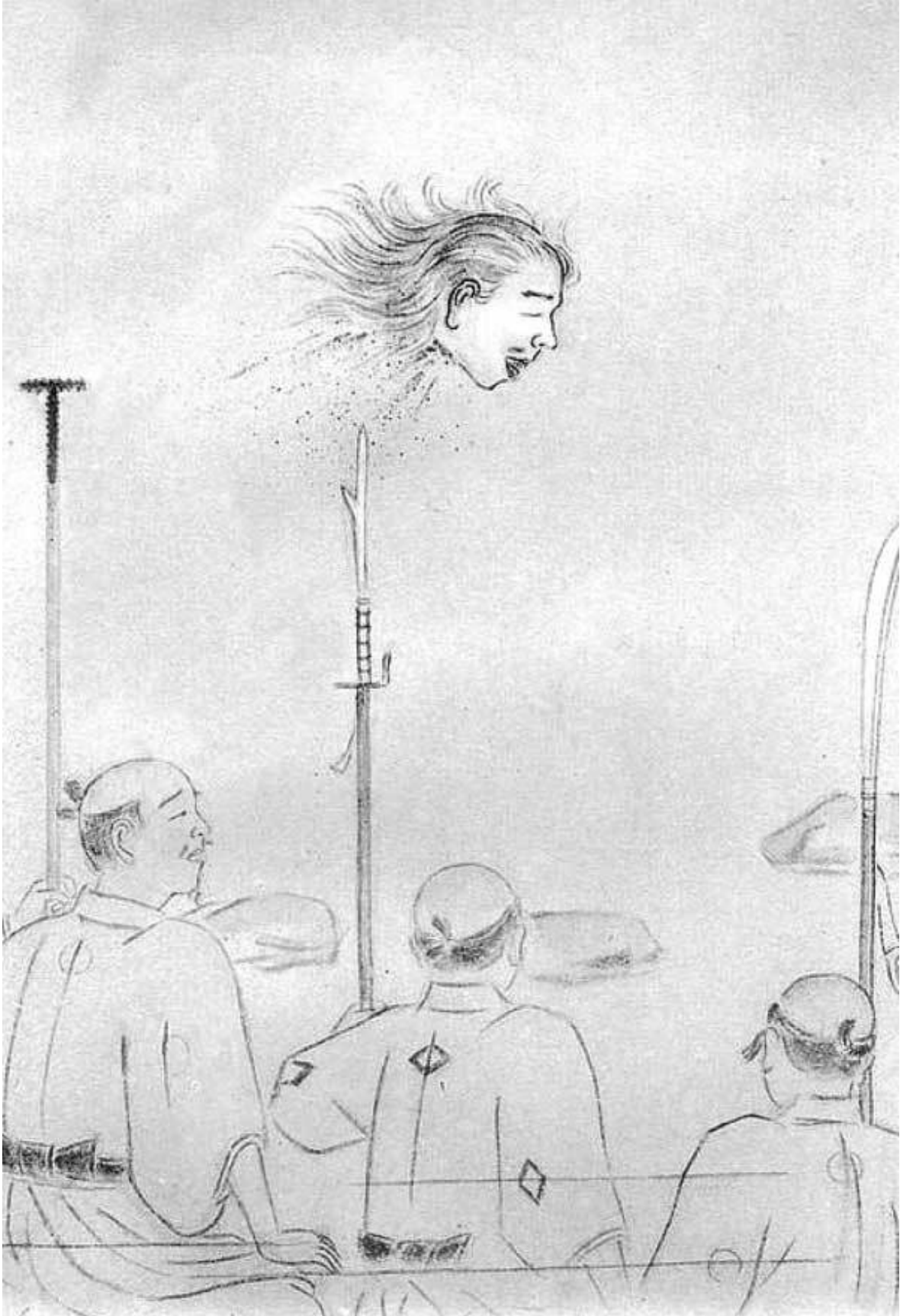
Когда утром Сондзё проснулся, воспоминание о сне было столь живым и красочным, что ему стало не по себе. В памяти снова и снова раздавались слова: «Приходи завтра в Акануму – и сам увидишь, непременно увидишь!..» В конце концов он решил отправиться к реке, хотя бы для того, чтобы проверить, не окажется ли странный сон чем-то бóльшим, нежели обычная ночная греза.

Сондзё пришел в Акануму и, приблизившись к берегу, увидел самочку осидори, плывущую в одиночестве. В то же мгновение и птица заметила охотника. Но вместо того чтобы поспешно улететь прочь, она поплыла прямо к Сондзё, не сводя с него странного пристального взгляда. И вдруг сильным ударом клюва осидори пробила собственную грудь и умерла на глазах у человека.

Сондзё обрил голову и стал странствующим монахом.

История О-Тэи

Давным-давно в городе Ниигате провинции Этидзэн жил человек по имени Нагао Тёсэй. Был он сыном лекаря и с детства перенимал отцовское ремесло. Тогда же, в детстве, родители заключили договор о его будущей женитьбе на О-Тэи – дочери одного из приятелей отца. Два семейства условились сыграть свадьбу, как только Тёсэй закончит учебу. Но оказалось, что у О-Тэи слабое здоровье – в пятнадцать лет девушка заболела неизлечимой чахоткой. Осознав, что умирает, она послала за Тёсэем, чтобы с ним попрощаться.



Едва молодой человек опустился на колени у ее ложа, О-Тэи заговорила:

– Нагао-сама^[11], суженый мой, мы обещаны друг другу с малых лет и к концу этого года должны были пожениться. Но теперь я чувствую, что скоро умру. Может статься, оно и к лучшему, раз уж боги так рассудили. Ведь даже если я проживу еще несколько лет, никому от этого пользы не вый дет – сделаюсь обузой для всех и причиной беспокойства. С таким никудышным здоровьем я не сумею стать вам хорошей женой, а потому желать пожить еще немного с моей стороны было бы недостойно. Я готова умереть и прошу вас, обещайте не горевать по мне... Сверх того, хочу заверить вас, что мы непременно встретимся снова.

– Конечно, встретимся! – пылко воскликнул Тёсэй. – И в том прекрасном мире мы уже никогда не познаем горечи разлуки!

– Нет-нет, – покачала головой О-Тэи. – Я не о другом мире толкую. Нам суждено встретиться здесь спустя несколько лет. Так и будет, хотя завтра меня похоронят.

Тёсэй непонимающе воззрился на девушку, а она при виде его изумления лишь улыбнулась и, помолчав, снова заговорила нежным сонным голоском:

– Да, мы встретимся в этом мире, в вашей нынешней жизни, Нагао-сама. При условии, конечно, что вы этого пожелаете. Однако для того, чтобы обещанное произошло, мне надобно будет опять родиться девочкой и подрасти. Так что вам придется подождать. Пятнадцать – шестнадцать лет – срок немалый, но вам ведь, мой нареченный жених, сейчас всего девятнадцать...

Тёсэй, желая утешить умирающую девушку, ласково сказал:

– Суженая моя, ждуть тебя – для меня не только радость, но и долг. Мы будем связаны друг с другом на протяжении семи существований.

– Стало быть, вы мне не поверили? – взглянула ему в глаза О-Тэи.

– Милая, – устыдился Тёсэй, – я не верю лишь в то, что смогу узнать тебя в новом облике и с новым именем, коли ты не подашь мне какой-нибудь знак.

– Этого я не сумею сделать, – вздохнула О-Тэи. – Лишь богам и буддам ведомо, где и когда мы встретимся. Но я знаю, твердо знаю,

что, если вы не откажетесь меня принять, я к вам вернусь... Не забывайте мое обещание.

Она замолчала. В следующий миг глаза ее закрылись. Девушка умерла.

Тёсэй любил О-Тэи всей душой и горько ее оплакивал. Он заказал поминальную табличку с ее *дзокумё*^[12], поместил эту табличку на *буцудан*^[13] и каждый день приносил к ней поминальные дары. Он много размышлял над странными словами, которые О-Тэи сказала ему перед смертью. Желая почтить ее дух, молодой человек написал торжественную клятву жениться на О-Тэи, если та вернется к нему в другом облике, скрепил это послание к духу своей печатью и положил на *буцудан* за поминальной табличкой с именем возлюбленной.

Однако, будучи единственным сыном, Тёсэй обязан был обзавестись семьей, и вскоре ему пришлось уступить требованиям родителей и взять жену по выбору отца. После свадьбы молодой человек продолжал совершать подношения на алтаре с поминальной табличкой О-Тэи и часто вспоминал о ней с глубоким чувством. Но со временем образ покинувшей его невесты поблек в памяти – так под утро выцветают яркие сны. А годы между тем всё шли и шли.

За это время с Тёсэем приключилось много бед. Умерли его родители, за ними последовали жена и единственный ребенок. Так он остался один во всем мире. Вдовец покинул родной дом и отправился в долгое путешествие в надежде забыть о своих горестях.

Однажды дорога привела его в Икао – горную деревушку, которая и ныне славится горячими источниками и удивительной красоты окрестностями. Там, в гостинице, где он остановился на ночлег, ужин ему подала совсем молоденькая девушка. И от одного взгляда на нее у Тёсэя сердце забилось так, что он чуть не задохнулся. Девушка была как две капли воды похожа на О-Тэи; ему даже пришлось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это не сон. Он смотрел, как девушка разжигает огонь в очаге, ставит на поднос пищу, готовит комнату для гостя, и каждое ее движение вызывало к жизни трогательные воспоминания о той, что была ему обещана в раннем детстве. Тёсэй заговорил с незнакомкой, и та ответила нежным чистым голоском, отчего душа его наполнилась светлой печалью о прошлом. Тогда он в великом удивлении признался:

– Сестренка, ты очень похожа на одну девушку, которую я знал когда-то очень давно. До того похожа, что у меня перехватило дыхание, едва я тебя здесь увидел. Прости за любопытство, но не могу не спросить, откуда ты родом и как тебя зовут.

И тогда вдруг незабываемым голосом его покойной возлюбленной юная служанка ответила:

– Меня зовут О-Тэи, а вы Нагао Тёсэй из Этидзэн, мой нареченный жених. Семнадцать лет назад я умерла в Ниигате, и вы написали на листе бумаги клятву жениться на мне, если вернусь я в этот мир в новом женском обличье, затем скрепили бумагу своей печатью и положили на буцудан рядом с табличкой, на которой написано мое имя. И вот теперь я вернулась.

Договорив последние слова, девушка лишилась чувств.

Нагао Тёсэй женился на ней, и брак этот был счастливым. Но ни разу в жизни его жена так и не вспомнила, что она сказала ему тогда в Икао в ответ на просьбу назвать имя, и о своем прежнем существовании тоже не могла ничего сказать. Память о предыдущем рождении таинственным образом вспыхнула в ней в момент встречи с возлюбленным, тотчас погасла и больше уже не разгоралась.

Убадзакура

Триста лет назад в деревне Асамимура, что в уезде Онсэнгори провинции Иё, жил добрый человек по имени Токубэй. В уезде слыл он самым богатым крестьянином, и односельчане избрали его старостой-мураоса. Во многих делах Токубэю сопутствовала удача, но не во всех: к своим сорока годам он так и не познал счастья отцовства. Удрученные бездетностью, они с женой не раз возносили молитвы Фудо-мёо^[14], чей храм под названием Сайходзи, известный во многих землях, стоял в Асамимуре.

В конце концов молитвы были услышаны – жена Токубэя родила девочку, да прехорошенькую. Ее назвали О-Цую. Молока у матери не хватало, потому пришлось нанять для малышки кормилицу по имени О-Содэ.

О-Цую подрастала и становилась все краше. Но вдруг в возрасте пятнадцати лет она тяжело заболела. Лекари сказали, что недуг неизлечим. Тогда кормилица О-Содэ, любившая О-Цую как родную дочь, пошла в Сайходзи и принялась горячо молить Фудо-саму о выздоровлении бедняжки. Двадцать дней она взывала к божеству в этом храме, и на двадцать первый день О-Цую чудесным образом исцелилась.



Радости в семействе Токубэя не было предела. Он даже устроил пир для всех друзей по случаю счастливого события. Однако в тот самый вечер, когда все веселились и праздновали, кормилица О-Содэ внезапно слегла больная. А утром лекарь, которого к ней срочно призвали, сообщил, что женщина умирает.

Все члены семьи в великой скорби собрались у ложа кормилицы, чтобы с ней попрощаться. И вот что она им сказала:

– Настало время поведать вам то, о чем вы не знаете. Мои молитвы в храме Сайходзи были услышаны. Я просила Фудо-саму разрешить мне умереть вместо О-Цую, и эта великая милость была мне оказана. А потому не надо обо мне печалиться... Лучше послушайте мое последнее желание. Я пообещала Фудо-саме посадить вишневое дерево в саду Сайходзи в знак благодарности ему и памяти о своем поступке. Теперь-то уж я не смогу это сделать, так что прошу вас исполнить мой обет... Прощайте, милые друзья, и помните, что я была счастлива умереть ради О-Цую.

После похорон О-Содэ молодое вишневое деревце – *сакура* – самое прекрасное из тех, что удалось найти, было посажено в саду Сайходзи родителями О-Цую. Деревце прижилось и стало расти. Через год, в шестнадцатый день второго лунного месяца, в годовщину смерти О-Содэ, оно вдруг расцвело так, что все ахнули от восхищения. И оно продолжало цвести каждый год в течение двухсот пятидесяти четырех лет, всегда в шестнадцатый день второго месяца, а его бело-розовые цветы были похожи на соски женской груди, набухшие молоком. И люди называли это дерево Убадзакура – «вишня кормилицы».

Искусство дипломатии

Казнь велено было провести в саду самурайской усадьбы-ясики. Стало быть, человека привели туда и бросили на колени посреди широкой, посыпанной песком площадки, которую пересекала цепочка *тоби-иси* – больших плоских камней, врытых в землю на расстоянии шага один от другого (тоби-иси, «летающие камни», и сейчас служат тропинками во многих японских садах). Руки приговоренного были связаны за спиной. Слуги принесли воду в деревянной бадье и мешки из-под риса, набитые галькой. Мешки расставили вокруг преступника так, чтобы он не смог сбежать. Явился хозяин усадьбы, окинул взглядом картину приготовлений и, найдя ее удовлетворительной, ограничился кивком.



– Ваша милость! – закричал, обращаясь к нему, связанный человек. – Преступление, в коем меня обвиняют, я совершил ненамеренно! По глупости совершил! Дурнем уродился, карма у меня такая, вот и делаю оплошности на каждом шагу, не могу удержаться! Но убивать человека за то, что он дурень, – это ж неправильно! А за неправильные поступки придется расплачиваться. Попомните мое слово: коли убьете меня, я вернусь и отомщу! Из гнева моего родится голодный дух! И злом воздастся за зло!

Если перед смертью человек испытывает ярость и негодование, он и правда может превратиться в мстительного духа, который способен свести счеты с тем, кто его убил. Самурай знал об этом. Он заговорил с преступником мягко, почти ласково:

– Запугивай нас сколько угодно, хоть сейчас, хоть после смерти. Однако же мне как-то не верится, что ты сдержишь обещание. Не затруднит ли тебя подать нам какой-нибудь знак своего великого гнева, после того как твоя голова слетит с плеч?

– Подам, еще как подам! – крикнул преступник.

– Вот и славно, – сказал самурай, обнажая длинный меч-катану. – Сейчас я отрублю тебе голову. Прямо перед тобой из земли торчит тоби-иси. Когда твоя голова подкатится к камню, попробуй его укусить. Если злой дух поможет тебе это сделать, мы все тут начнем заикаться от страха. Ну что, укусишь камень?

– Укушу! – завопил охваченный яростью преступник. – Укушу! Уку...

Сверкнуло, свистнуло, раздался глухой удар. Связанное тело упало на рисовые мешки, из шеи брызнули две длинных кровавых струи, и голова тяжело покатила по песку напрямик к тоби-иси. Вдруг она подскочила, впила зубами в камень до хруста, на миг замерла, отчаянно цепляясь за него, упала на песок и осталась неподвижной.

Все потеряли дар речи. Слуги в ужасе уставились на хозяина. А тот невозмутимо вручил катану ближайшему оруженосцу и зашагал к дому.

Оруженосец, зачерпнув ковшом воды из деревянной бадьи, полил окровавленное лезвие от *цубы*^[15] до самого острия, а затем тщательно протер его несколько раз бумажными листами. На том и закончилась церемониальная часть казни.

Следующие несколько месяцев слуги самурая прожили в паническом страхе. Все каждый день ждали визита призрака. Никто не сомневался, что обещанная месть рано или поздно свершится, и ужас заставлял их видеть и слышать то, чего не было. Вскоре они уже шарахались от шороха ветра в бамбуковой роще и от скольжения теней в саду. В конце концов, посоветовавшись, бедолаги решили обратиться к хозяину с просьбой заказать в храме поминальную службу, дабы умиловить голодного духа.

– В этом нет необходимости, – сказал самурай, когда старший слуга передал ему общую просьбу. – Я в курсе, что человек, жаждущий отмщения, может натворить много бед после смерти. Но в данном случае бояться нечего.

Старший слуга с мольбой воззрелся на хозяина, не осмеливаясь спросить о причине такой уверенности.

– О, причина проста, – ответил самурай, угадав невысказанный вопрос. – Лишь самое последнее намерение человека перед смертью может возыметь разрушительные последствия. Поэтому я отвлек злодея от мыслей о мести, потребовав подать нам знак. В итоге он умер с единственным горячим желанием – укунить камень. Это желание ему удалось исполнить, а больше он уже ни на что не способен. Обо всем прочем его дух забыл. Так что пора бы и вам выбросить это дело из головы.

Разумеется, казненный преступник ни разу не потревожил обитателей усадьбы. Ничего страшного не случилось.

Зеркало и колокол

Восемь столетий назад служители храма в деревне Мугэн-ни-яма, что в провинции Тоотоми, решили обзавестись большим колоколом и попросили местных женщин отдать им старые бронзовые зеркала на переплавку. (И сейчас во дворах некоторых японских храмов можно увидеть зеркала, пожертвованные с той же целью. Самую внушительную коллекцию подобных предметов мне довелось обнаружить в Хакате на острове Кюсю, в храме буддийской школы дзёдо, – люди приносили туда зеркала для отливки тридцатитрехфутовой бронзовой статуи будды Амиды.)



В ту пору в Мугэн-ни-яме жила молодая жена крестьянина. Она тоже отдала монахам зеркало на общее дело, а потом вдруг пожалела о своем поступке. Ей вспомнились рассказы матери об этой вещице, когда-то принадлежавшей ее бабке, а прежде – прабабке; подумалось о том, сколько счастливых улыбок отражалось в полированной бронзе... Конечно, она могла опять пойти в храм и взамен зеркала предложить монахам немного денег, чтобы они вернули семейную реликвию. Но у нее не было ни монетки. И теперь всякий раз, приходя помолиться, она с грустью примечала во дворе у самой ограды свое зеркальце, валявшееся среди сотен других. Она узнавала его по выгравированному на тыльной стороне *сё-тику-бай* – рисунку из трех символов счастья: сосны, бамбука и цветущей сливы, – который заморозил ее в детстве, когда матушка впервые показала ей зеркало. Женщина подкарауливала случай украсть его из храма и спрятать, чтобы впредь всегда держать при себе, как истинное сокровище. Однако случай так и не подвернулся, и она ужасно горевала, чувствуя, будто глупейшим образом сама подарила кому-то часть своей жизни. Еще она постоянно повторяла старинную поговорку о том, что зеркало – душа женщины (эту мудрость, символически выраженную одним китайским иероглифом «душа», наносят на многие зеркала с обратной стороны), и ей чудилось, что в давно знакомых словах заключено гораздо больше смысла, чем представлялось раньше. Но она ни с кем не решалась поделиться своей печалью.

Когда зеркал для колокола набралось достаточно, их отправили на переплавку. И вот тут-то литейщики обнаружили, что одно зеркало не желает плавиться. Снова и снова нагревали они кусок бронзы, но он сопротивлялся всем их усилиям. В итоге стало ясно, что женщина, пожертвовавшая зеркало храму, пожалела о своем даре. Должно быть, она совершила подношение не от чистого сердца, и ее жадный дух, привязанный к зеркалу, сохранял его холодным и твердым в раскаленном нутре плавильной печи.

Разумеется, слухи об этом быстро облетели окрестности, и вскоре уже все знали, чье зеркало не расплавилось. Крестьянская жена злилась и тосковала от того, что ее тайная вина стала всеобщим достоянием. В конце концов бедняжка не смогла вынести стыда и утопилась, оставив предсмертную записку с такими словами:

«Когда я умру, расплавить зеркало не составит труда, и можно будет отлить колокол. Но тому, кто, начав звонить, сумеет разбить его, мой дух дарует огромное богатство».

Как известно, дух человека, совершившего самоубийство или умершего по другой причине во гневе и злобе, обретает сверхъестественную силу. После смерти женщины из Мугэн-ни-ямы зеркало и правда расплавилось, колокол был благополучно отлит, и люди вспомнили ее прощальное письмо. Они не сомневались, что обещанное исполнится, – дух утопленницы обязательно принесет несметное богатство тому, кто этот колокол разобьет. Так что, не успели монахи повесить его во дворе храма, туда потянулась нескончаемая вереница желающих позвонить. Из всех сил они раскачивали язык колокола, но тот был отлит на совесть и стойко выдерживал самые сильные удары. Однако люди не сдавались. День за днем они приходили в храм и яростно звонили в колокол, не обращая внимания на протесты служителей. Мало-помалу несмолкаемый звон сделался для монахов ужасным испытанием, и настоятель, не выдержав, велел снять колокол и бросить его в болото у подножия холма, на котором стоял храм. Глубокая трясина поглотила колокол, и больше никто никогда его не видел. Осталась лишь легенда, сохранившая его название – Мугэн-канэ, «колокол из Мугэна».

Теперь обратимся к другому весьма необычному древнему суеверию. В японском языке есть глагол *надзораэру*, служащий для обозначения особого колдовского действия, вызываемого некими умственными и душевными усилиями. Однако исчерпывающего определения этому действию он не дает. Эквивалентного слова в английском языке для него не существует, поскольку в японском он используется в описаниях самых разных проявлений миметической, то есть подражательной, магии, а также религиозных обрядов. Общий смысл глагола *надзораэру* по словарю – «подражать», «походить», «воспроизводить», но в эзотерическом плане он означает «замещать в воображении один предмет или одно действие другим и тем самым добиваться некоего магического результата».

Например, у вас нет средств на постройку буддийского храма, зато вы можете положить камешек перед изображением Будды с тем же

благоговением и религиозным пылом, каковые побудили бы вас возвести святилище, будь вы богачом. Тогда ценность камешка, принесенного в дар Будде, сравнится или, по крайней мере, приблизится к ценности храма, построенного в его честь.

Еще пример. Вы не способны прочесть шесть тысяч семьсот семьдесят одну сутру, но в вашей власти собрать шесть тысяч семьсот семьдесят один свиток на одной подставке и крутить ее с тем же рвением, с каким вы стремитесь постичь все эти священные тексты. Тогда вам пребудет столько же добродетели, сколько вы обрели бы, действительно их прочитав.

Возможно, теперь религиозное наполнение глагола *надзораэру* немного прояснилось. Но привести необходимое количество примеров для того, чтобы растолковать все многообразие его значений в магии, невозможно. Впрочем, несколько я все же приведу, дабы у читателя сложилось некоторое представление, необходимое для продолжения этого кайдана.

Если вы сделаете человечка из соломы с той же целью, с какой ведьмы когда-то лепили фигурки из воска, и гвоздями длиной не менее пяти дюймов прибьете его к дереву на кладбище при храме в час Быка, и если человек, который в вашем воображении перевоплотился в соломенное чучелко, вскоре умрет в страшных мучениях, это будет прекрасной иллюстрацией одного из магических значений глагола *надзораэру*.

Или, допустим, в ваш дом ночью пробрался вор и похитил все ваши сокровища. Если вы найдете в саду его следы, возьмете два куска моксы, положите их в отпечатки левой и правой ноги, а затем тщательно подождете, у вора будут гореть пятки до тех пор, пока он не вернется по своей воле на место преступления, чтобы сдаться на вашу милость. Это второй вид миметической магии, применение которой выражается термином *надзораэру*. А примерами третьего служат многочисленные легенды о Мугэн-канэ.

Когда колокол погрузился в топь, никто уже, конечно, не мог рассчитывать на то, что его удастся достать, дабы яростным звоном расколоть и заполучить богатство. Но многие жалевшие об упущенной возможности пытались разбивать предметы, заменявшие в их

воображении колокол; они надеялись таким образом угодить духу покойной владелицы зеркала, ставшего причиной стольких потраченных зря усилий. В числе этих людей была женщина по имени Умэгаэ – о ней и о ее любви к Кадзиваре Кагэсуэ, воину из дома Хэйкэ, в Японии сложено немало легенд.

Однажды, когда они путешествовали вдвоем, Кадзивара оказался в стесненных обстоятельствах, а ему вдруг срочно потребовались деньги. Тогда Умэгаэ, вспомнив о Мугэн-канэ, взяла бронзовый тазик для омовений, представила себе, что это колокол, и била по нему, пока тот не раскололся. При этом она во весь голос повторяла желание получить триста золотых монет. Другие постояльцы гостиницы, где останавливались влюбленные, слышали грохот, звон, крики, и самые любопытные затеяли расследование. Узнав о финансовых затруднениях Кадзивары, они тотчас вообразили себе Умэгаэ с тремя золотыми монетами в руках. Потом о бронзовом тазике Умэгаэ сложили песню; японские танцовщицы поют ее и в наши дни.

Умэгаэ-но тёдзабути татаитэ
О-канэ га дэру нараба,
Мина-сан ми-укэ-о
Сорэ таномимасу.

«Постучу по бронзовому тазу Умэгаэ, получу в награду много денег и выкуплю всех моих подружек по несчастью».

После того происшествия слава Мугэн-канэ вышла далеко за пределы деревни, и многие следовали примеру Умэгаэ, уповая на ту же удачу. Попытал однажды счастья и некий беспутный крестьянин, живший в окрестностях Мугэн-ниямы на берегу Оигавы. Добро свое он давно пустил по ветру и вот нашел легкий способ обогатиться: слепил у себя в саду из грязи колокольчик, мысленно нарек его Мугэн-канэ и расколотил палкой, во всю глотку оповещая мир о своем желании завладеть несметными сокровищами.

Вдруг прямо перед ним как из-под земли выросла женщина в белых одеждах и с длинными развевающимися волосами. В руках она

держала горшок с крышкой. «Я пришла ответить на твои молитвы надлежащим образом. Возьми этот горшок». С такими словами женщина вручила горшок просителю и растворилась в воздухе.

Счастливый крестьянин бросился в дом, сообщил жене радостную весть и водрузил перед ней закрытый горшок, который, надо заметить, был тяжелый. Они вместе сняли крышку, и оказалось, что сей волшебный сосуд до самых краев наполнен...

Нет уж, увольте, ни за что не скажу, чем он был наполнен.

Дзикининки

Однажды монах по имени Мусо Кокуси, приверженец учения дзен, заблудился среди гор и холмов, странствуя по провинции Мино, и некому было указать ему дорогу. Долго он бродил, так никого и не встретив, и уже отчаялся отыскать ночлег, как вдруг на вершине пригорка, освещенной последними лучами закатного солнца, приметил хижину-андзицу – из тех, что строят для себя буддисты-отшельники. Хижина была совсем обветшала, тем не менее Мусо устремился к ней со всей поспешностью и, обнаружив на пороге старого монаха, попросил у него прибежища на ночь. Старец решительно отказался приютить путника, однако объяснил ему, как добраться до крошечной деревушки в ближней долине, – там его, дескать, непременно накормят и уложат спать.



Мусо без труда нашел деревушку, в которой насчитывался всего-то десяток домов, и его любезно приняли в жилище старосты. В большой гостиной, как он успел заметить, собралось человек сорок – пятьдесят, но странника хозяева сразу проводили в небольшую комнату, обеспечив едой и постельными принадлежностями.

Уставший монах быстро заснул, хотя час еще был довольно ранний. Около полуночи его разбудили приглушенные рыдания, доносившиеся из-за перегородки. Открыв глаза, Мусо обнаружил, что раздвижные двери его комнатки открыты и на пороге стоит молодой человек с зажженным фонарем в руке. Войдя в спальню, он почтительно поклонился и заговорил:

– Уважаемый господин, мой скорбный долг сообщить вам, что отныне я являюсь главой этого осиротевшего дома, хотя утром был всего лишь старшим сыном. Когда вы пришли к нам, утомленный долгой дорогой, мы, дабы избавить вас от чувства неловкости, не стали сообщать печальную весть о том, что мой отец умер несколько часов назад. Люди, которых вы видели в гостиной, – жители нашей деревни. Все они пришли сюда воздать последние почести усопшему. А теперь им надлежит отправиться в соседнее поселение и оставаться там до рассвета, ибо древний обычай запрещает нам проводить здесь ночь после смерти кого бы то ни было из жителей деревни. Мы совершаем поминальный обряд, делаем подношения богам и читаем сутры, а затем оставляем усопшего одного до утра. В доме, где лежит покойник, ночью творятся странные дела, а потому вам лучше тоже уйти с нами. Мы найдем вам уютное местечко для ночлега в другой деревне. Однако, может статься, вы, будучи монахом, не боитесь злокозненных призраков? Тогда, ежели вам не страшно будет провести ночь рядом с усопшим, мой дом в вашем распоряжении. Я все же должен предупредить вас, что никто, кроме честного священнослужителя, не осмелился бы сегодня здесь остаться.

– Премного благодарен вам за гостеприимство и доброе отношение, – сказал Мусо. – Но почему же вы не сообщили мне, что ваш батюшка умер, когда я только пришел? Дорога меня, конечно, утомила, но не настолько, чтобы я не смог выполнить свой священный долг. Предупреди вы меня сразу, я отслужил бы заупокойную службу немедленно. Что ж, теперь я буду читать над ним сутры после вашего

ухода и останусь возле тела до утра. Не знаю, о каких опасностях вы мне толковали, однако в любом случае я не боюсь ни призраков, ни голодных духов, так что не извольте обо мне беспокоиться.

Молодой человек явно обрадовался такому повороту событий и надлежащим образом выразил благодарность. Затем он известил о любезном обещании монаха других членов семьи и собравшихся в гостиную односельчан, после чего те гурьбой тоже бросились благодарить Мусо.

– А теперь, достопочтенный господин, – сказал хозяин дома, – при всем нашем нежелании бросить вас здесь одного, мы все же вынуждены попрощаться. По местному обычаю, никому из нас не дозволяется оставаться в деревне после полуночи. Просим вас, добрый господин, позаботиться об усопшем и простить нас за то, что мы не сможем присутствовать на заупокойной службе. А если за время нашего отсутствия в доме будет происходить что-то странное и необъяснимое, непременно расскажите нам об этом утром, когда мы вернемся.

Все, кроме монаха, покинули жилище, а он отправился в комнату, где лежало тело старосты. Подле усопшего находились погребальные дары и горела маленькая буддийская лампадка-томё. Прочитав сутры и исполнив погребальный обряд, монах сел и погрузился в медитацию. Так провел он несколько часов в полной тишине – ни в доме, ни в опустевшей деревне не раздалось ни звука. А когда ночное безмолвие сгустилось до звона в ушах, перед ним вдруг возник призрак – огромная, размытая в воздухе тень, – и в тот же миг Мусо почувствовал, что не может ни пошевелиться, ни заговорить. Призрак между тем поднял труп, словно у этого призрака были руки, и принялся пожирать его быстро и бесшумно, как кошка мышшь. Начав с головы, он заглотил труп целиком – не осталось ни волос, ни костей, ни даже савана. А расправившись с усопшим, страшная тень накинута на погребальные дары и смела все подчистую. Затем она исчезла так же внезапно и таинственно, как и появилась.

Когда утром деревенские вернулись, Мусо поджидал их у дверей дома старосты. Все по очереди поприветствовали его, а войдя в дом, оглядевшись и не обнаружив там ни покойника, ни погребальных подношений, даже не подумали удивиться.

– Достопочтенный господин, – сказал молодой хозяин, – должно быть, вы пережили неприятную ночь. Мы все о вас тревожились и потому счастливы найти вас в добром здравии. Знайте: каждый из нас непременно остался бы с вами, будь у него такая возможность. Однако же закон нашей деревни, как я уже говорил вам, требует от жителей покинуть на ночь свои дома, если кого-то здесь постигнет смерть. Всякий раз, когда закон этот нарушался, на деревню обрушивались беды и несчастья. Если же он соблюдался в точности, местные жители, вернувшись наутро, обнаруживали, что тело и погребальные дары загадочным образом исчезли за время их отсутствия. Возможно, вы видели, как это произошло?

Тогда Мусо поведал людям о жутком призраке, который откуда ни возьмись появился в комнате и сожрал усопшего вместе с ритуальными подношениями.

Рассказ, похоже, никому из деревенских не показался странным.

– То, о чем вы нам толкуете, достопочтенный господин, всецело соответствует легенде, передающейся из уст в уста в здешних краях с давних времен.

– Неужто монах-отшельник, живущий неподалеку, ни разу не проводил в вашей деревне заупокойные службы? – спросил Мусо.

– Какой монах? – не понял молодой хозяин.

– Тот самый монах, что указал мне вчера дорогу к вам. Я попросился на ночлег в его андзицу на вершине пригорка. Он меня не впустил, но объяснил, как добраться сюда.

Слушатели начали переглядываться в изумлении, а хозяин дома, помолчав, сказал:

– Достопочтенный господин, в нашей округе нет никаких отшельников, и ни одной андзицу на пригорке. Более того, сменилось уже немало поколений, с тех пор как в здешних местах селились монахи.

Мусо предпочел не развивать эту тему, поскольку деревенские явно решили, что ему заморочил голову какой-нибудь зловредный дух. Однако, расспросив добрых людей о дороге и попрощавшись с ними, он вознамерился еще раз взглянуть на тот пригорок и убедиться, что ему не заморочили голову на самом деле.

Андзицу отыскалась без труда, а старый отшельник на сей раз пригласил его войти.

Когда Мусо переступил порог, старец распростерся перед ним в поклоне, восклицая:

– О, как стыдно! Как же мне стыдно! Ни за что себя не прощу!

– Вам нечего стыдиться из-за того, что не приютили меня на ночь, – улыбнулся Мусо. – Вы ведь показали мне дорогу в ближайшую деревню, и там меня очень хорошо приняли, спасибо вам за это.

– Я никого не могу приютить, – вздохнул отшельник. – И стыдно мне не от этого, а от того, что вы видели меня в моем истинном обличье. Ибо не кто иной, как я, нынче ночью сожрал у вас на глазах тело усопшего и погребальные дары. Знайте же, достопочтенный господин, что я – *дзикининки*^[16], и пища моя – человеческая плоть. Сжальтесь надо мной, примите мою исповедь в недостойном поведении, кое стало причиной моего нынешнего существования.

Давным-давно я был буддийским священником в здешних малолюдных краях. В горах, простирающихся вокруг на многие *ри*^[17], не сыскать было ни одного моего собрата, так что в те времена всех своих покойников местные жители приносили ко мне, порой преодолевая огромные расстояния, чтобы я справил заупокойную службу. А для меня чтение сутр и совершение обрядов было всего лишь заработком, я думал только о пропитании и одежде, коими мог меня обеспечить священный сан. Из-за своей жадности и низменных желаний сразу после смерти я превратился в *дзикининки* и с тех пор вынужден питаться трупами людей, умерших в этой местности. Каждого покойника я пожираю от макушки до пят, в точности как вы видели нынешней ночью... Теперь же, почтенный господин, я умоляю вас справиться по мне службу *сэгаки*^[18]. Заклинаю, помогите мне своими молитвами, дабы мое существование в этом чудовищном облике вскоре закончилось.

Едва отзвучали эти слова, отшельник исчез, и в тот же миг хижина тоже растворилась в воздухе. А Мусо Кокуси обнаружил, что сидит в густой траве возле поросшего мхом могильного *го-рин-иси*^[19], поставленного в незапамятные дни, вероятно над прахом буддийского священника.

Мудзина

Акасакский тракт в Токио пролегает по косогору, который в народе известен как Кии-но-куни-дзака – «Косогор провинции Кии». Понятия не имею, откуда взялось такое название. С одной стороны вдоль этого косогора тянется древний ров, широкий и глубокий, поросший по краям густой растительностью, и доходит он до замковых садов. А по другую сторону высится длинная величественная стена самого императорского замка. Пока город не обзавелся уличными фонарями и *дзинрикися* (рикшами), в те места мало кто захаживал с наступлением темноты – припозднившиеся путники предпочитали заложить изрядный крюк, лишь бы не подниматься по Кии-но-куни-дзаке после заката.

А все оттого, что это местечко облюбовали для себя *мудзины*.



Последним мудзину в тех краях видел один пожилой купец из квартала Кёбаси. Он умер лет тридцать назад, но перед тем поведал, что с ним приключилось.

Однажды ночью купец торопился одолеть злополучный косогор, как вдруг увидел, что на самом краю рва примостилась женщина, одна-одинешенька, и горько плачет. Испугавшись, что она пришла сюда утопиться, купец направился к ней, желая утешить и помочь, насколько это будет в его силах. В темноте ему показалось, что перед ним совсем юная девушка, тоненькая и стройная. Одежда на ней была весьма приличная, а волосы уложены так, как принято у барышень из богатых семей.

– О-дзётю!^[20] – позвал купец, подходя еще ближе. – О-дзётю, не убивайся ты так, лучше расскажи мне, в чем твоя беда, и если дело поправимое, я буду рад тебе помочь.

(Он сказал это искренне, потому что и правда был добрым человеком.)

Но девушка продолжала плакать, пряча от него лицо за длинными рукавами.

– О-дзётю, – снова ласково заговорил купец, – пожалуйста, послушай меня. Негоже юной девице гулять по ночам в таком месте. Перестань плакать, прошу тебя, просто скажи, чем помочь.

Тут она медленно поднялась, повернувшись к нему спиной, и зарыдала пуще прежнего, всхлипывая и закрываясь рукавами. Купец осторожно похлопал ее по плечу:

– О-дзётю, о-дзётю, ну, послушай меня хоть минутку... О-дзётю!..

И тут о-дзётю резко обернулась, раскинула руки, а потом провела ладонью по своему лицу – и купец увидел, что у нее нет ни глаз, ни носа, ни рта. Заорав как резаный, он бросился бежать прочь от чудовища.

Не разбирая дороги, мчался купец вверх по косогору, а впереди была лишь непроглядная тьма. Так, не оглядываясь, он все бежал и бежал, пока наконец впереди не замаячил свет, так далеко, что купец поначалу принял его за одинокого светлячка, но все же устремился к этой крошечной искорке. Спустя какое-то время искорка оказалась светильником бродячего торговца лапшой-сббой, сидевшего на обочине рядом со своей тележкой. Но в тот час после пережитого

ужаса купец был рад любому свету и любому обществу. Он бросился к торговцу с воплями:

– А-а-а-а-а!!! Спасите!!! Помогите!!!

– Эй, потише! – хрипло отозвался торговец лапшой. – Что это с вами стряслось? Избили-ограбили?

– Н-нет, никто меня не бил, – выдохнул купец. – Просто... просто... о-о-о-ох...

– Просто напугал, что ли? – неприязненно подсказал торговец. – Разбойник небось?

– Не разбойник, не разбойник! – зачастил ошалевший от страха купец. – Я видел... видел женщину у рва... и она показала мне... о-о-о, не могу передать словами!

– Чего показала? Может, что-нибудь вроде этого, а?! – заорал торговец лапшой и шлепнул себя ладонью по лицу, отчего оно сделалось гладким, как яйцо.

И в тот же миг свет погас.

Рокурокуби

Лет пятьсот назад состоял на службе у князя Кикудзи, владельца Кюсю, один самурай по имени Исогай Хэйдадзаэмон Такэцура. Означенный Исогай унаследовал от многих поколений воинственных предков природную склонность к ратному делу и богатырскую силу. Еще мальчишкой он превзошел своих наставников в искусстве боя на мечах, стрельбе из лука, владении копьем и проявил все задатки доблестного воина. Впоследствии, во время войны в годы Эйкё^[21], он совершил немало подвигов на полях сражений, за что удостоился величайших наград и почестей. Однако вскоре дом Кикудзи пришел в упадок, и прославленный Исогай остался без хозяина. Любой даймё тогда был бы рад принять его к себе на службу, но этот человек никогда не заботился о собственном благе и в душе сохранил верность прежнему господину, потому предпочел удалиться от мира. Исогай обрил голову, принял буддийское имя Кайрё и сделался странствующим монахом. Но и под *коромо*^[22] не перестало пылать огнем сердце самурая. Как в былые годы он смеялся в лицо врагам, угрожавшим его жизни, так и теперь презирал опасности и в любую погоду нес учение Будды в такие уголки, куда никто из его собратьев пойти не осмелился бы. Ибо времена стояли смутные, повсюду творилось беззаконие, и на трактах одинокого путника поджидали большие беды, от которых не мог уберечь и духовный сан.



Первое долгое странствие привело Кайрё в провинцию Каи. Однажды, когда он брел по горным тропам, ночь застала его в глухом ущелье. До ближайшего человеческого жилья оставалось множество ри пути, и Кайрё пришлось устроиться на ночлег под открытым небом. Отыскав поросшую травой полянку, монах улегся и закрыл глаза. Он и раньше-то был неприхотлив, никогда не стремился к роскоши, теперь же за неимением лучшего и голая скала порой служила ему удобным ложем, а корни сосны – мягкой подушкой. Дождь и снег, роса и стужа не причиняли неудобств телу, словно отлитому из стали.

Едва Кайрё растянулся в траве, на горной тропке появился человек с топором и огромной вязанкой дров. Дровосек остановился, окинул взглядом лежащего монаха и удивленно покачал головой:

– Что вы за храбрец такой, добрый господин, коли осмелились прилечь один-одинешенек в безлюдном месте? Тут повсюду шастают призраки и голодные духи. Неужто не боитесь вы косматых зловредных чудищ?

– Дружище, – весело отозвался Кайрё, – я всего лишь странствующий монах, *ун-суй-но-рёкаку* – «гость волн и облаков», как нашу братию кличут в народе. И до косматых чудищ мне дела нет, ежели вы толкуете о лисах-оборотнях, барсуках-перевертышах и прочей нечисти. А безлюдные места мне очень даже по нраву – что может быть лучше для медитации? К тому же я привык спать на свежем воздухе и давно перестал дрожать за свою жизнь.

– Ну, тогда вы воистину храбрец, – восхитился крестьянин, – раз уж забрели сюда без спутников. Должен вам сказать, у этого места дурная слава. А как известно, *кунси ая-уки-ни тикаёрадзу* – «благородный муж не рискует жизнью без надобности». Поверьте, добрый господин, спать здесь и правда будет опасно. Посему, хоть вместо дома у меня ветхая лачуга, крытая соломой, позвольте все же предложить вам ночлег. На ужин мне подать вам нечего, зато крыша над головой будет, и вы отдохнете в полной безопасности.

Говорил дровосек убедительно, Кайрё понравился его любезный тон, и он принял скромное предложение. Крестьянин повел его узкой тропинкой, убегавшей от главной дороги в горный лес. Идти было нелегко: ухабистая тропка то вилась по краю обрыва, то вдруг превращалась в переплетение скользких корней, норовивших

переломать путникам ноги, то петляла среди острых скальных обломков. Наконец перед Кайрё открылось свободное пространство на вершине холма, залитого сиянием полной луны, и он увидел домик с соломенной крышей, уютно освещенный изнутри огнем очага. Дровосек сразу направился к навесу на заднем дворе. Там было устроено место для купания – по бамбуковым трубкам поступала вода из источника, видимо расположенного неподалеку, – и Кайрё с удовольствием омыл ноги после долгого пути. За навесом скрывался огород, дальше росли кедры и шумела бамбуковая роща, а между деревьями серебристыми проблесками давал о себе знать водопад – поток низвергался с высоты, покачиваясь и трепеща в лунном свете, как длинные белые одежды на ветру.

В домике, когда Кайрё вошел туда в сопровождении крестьянина, двое мужчин и две женщины грелись у маленького очага, устроенного в ро^[23] посередине гостиной. Все низко поклонились монаху и произнесли очень вежливые слова приветствия. Кайрё подивился тому, что беднякам, живущим в глуши, знакомы правила хорошего тона. «Какие приятные люди, – подумал он. – Должно быть, некий благородный и образованный господин научил их премудростям этикета». Обернувшись к хозяину жилища – *арудзи*, как называли его домочадцы, – монах сказал:

– Судя по вашей речи и по вежливому приему, оказанному мне этими достойными людьми, вы не вечно были дровосеком. Смее ли я предположить, что некогда вы принадлежали к знатному сословию?

– Добрый господин, вы не ошибетесь в своем предположении, – улыбнулся дровосек. – Сейчас я, как вы видите, живу в уединенной хижине, но когда-то и правда занимал высокое положение в обществе. Представьте себе, я сам разрушил свою жизнь. Вот моя история. Я состоял на службе у одного даймё и ранг имел немалый. Однако невоздержанность в любви к женщинам и горячительным напиткам меня погубила. Под влиянием страсти я совершал дурные поступки и в конце концов стал виновником истребления нашего клана и смерти многих достойных людей. Кара постигла меня незамедлительно, я оказался изгнанником и долгие годы скитался по земле. Теперь я молюсь лишь о возможности искупить вину, чтобы вернуть честь и славу своему древнему роду. Однако едва ли мне когда-нибудь будет дарована подобная милость. Так или иначе, я стремлюсь очистить

карму, искренне раскаиваясь в содеянном и помогая по мере сил тем, кто нуждается в моей помощи.

Монаху пришлось по душе благое намерение арудзи.

– Друг мой, – сказал он, – я не раз наблюдал, как люди, натворившие немало бед в молодые годы, позднее ступали на путь истины и становились образцами добродетели. В сутрах говорится, что сила благого намерения велика, и тот, кто проявлял упорство в совершении дурных дел, с тем же упорством способен творить добро. Сердце у тебя, несомненно, доброе, и я верю, что твоя жизнь еще изменится к лучшему. Нынче ночью я буду читать сутры о твоём спасении и молиться о том, чтобы тебе достало сил очистить карму от былых ошибок и заблуждений.

Дав такое обещание, Кайрё пожелал арудзи спокойной ночи, и тот проводил гостя в крошечную комнатку, где для него уже была приготовлена постель. Затем все легли спать, кроме монаха, который при свете бумажного фонарика принялся читать сутры. Он читал и молился допоздна, а перед тем как тоже улечься, раздвинул ставни в своей спальне, чтобы еще раз полюбоваться окрестностями. Ночь выдалась дивной красоты: на небе не было ни облачка, ветер утомился за день и уснул, яркий лунный свет рисовал на земле колючие черные тени листвы и плясал, разбрызгивая серебристые искорки, на каплях росы, выпавшей в саду. Сверчки и кузнечики затеяли музыкальное состязание, и плеск водопада звонче раздавался в ночной тьме. Послушав шум воды, Кайрё почувствовал жажду, вспомнил о бамбуковых трубках и решил прогуляться к навесу на задворках домика, поскольку ему не хотелось беспокоить спящее семейство. Он осторожно раздвинул двустворчатую перегородку, отделяющую его спальню от гостиной, – и свет фонаря выхватил из темноты пять лежащих вповалку... безголовых тел.

Несколько мгновений Кайрё пребывал в замешательстве – он решил, что видит картину преступления. Но тут он заметил, что на полу нет крови, а обрубки шей вовсе не выглядят так, будто головы отрезали. Тогда он подумал: «Либо это морок, наведенный нечистью, либо меня заманили в логово *рокурокуби*... В книге «Сёсинки» говорится, что тому, кто найдет тело рокурокуби без головы, надлежит перенести его на другое место, пусть даже недалеко, – после этого голова уже не сумеет запрыгнуть обратно на плечи. А еще в той книге говорится, что

голова, вернувшись туда, где она оставила тело, и не найдя его, три раза ударится оземь, подпрыгивая, как мячик, затем начнет задыхаться, будто от смертельного страха, и немедленно умрет. Итак, если передо мной пять рокурокуби, ничего хорошего ждать от них не следует, а стало быть, я с чистой совестью могу выполнить указание, приведенное в книге».

Он взял тело арудзи за ноги, подтащил к стене, раздвинул ставни и выкинул его из домика. Двери оказались заперты, и Кайрё предположил, что головы покидали логово и возвращались сюда через дымовое отверстие в крыше, которое оставалось открытым. Тихо отперев и раздвинув двери, он вышел в сад, а затем, стараясь не шуметь, направился туда, где росли бамбук и кедр. Из рощи доносились голоса.

Кайрё осторожно пробирался между деревьями, от тени к тени, голоса становились все громче, и, наконец, выглянув из-за ствола, он увидел все пять голов: они кружили в воздухе и время от времени перебрасывались словами, закусывая червями и насекомыми, пойманными на деревьях. Перестав жевать, голова арудзи сказала:

– Ох, до чего же аппетитный монах вчера к нам пожаловал! Упитанный такой! Вот уж мы полакомимся, досыта наедемся!.. Зря я, конечно, с ним разоткровенничался – этот олух сразу начал читать сутры о моем спасении. А пока человек читает сутры, нам до него не добраться, даже приблизиться не можем, пока он молится. Впрочем, уже светает, должно быть, здоровяк все ж таки заснул... Надо кому-нибудь из нас наведаться домой и проверить, что он делает.

Женская голова тотчас проворно, словно летучая мышь, упорхнула к хижине. Через несколько минут она вернулась, заполошно вереща:

– Монаха нет в доме! Сбежал монах! Но это еще не самое ужасное! Он унес с собой тело арудзи! Или спрятал где-то – не могу найти!

Услышав эту весть, голова арудзи, отчетливо видимая в лунном свете, вдруг обрела чудовищный облик: глаза выпучились, брызнули слезы ярости, волосы встали торчком, зубы заскрежетали, из глотки вырвался ужасающий крик:

– Раз мое тело переместили, у меня теперь нет возможности к нему вернуться! Значит, мне суждено умереть! И все из-за этого монаха! Но я еще успею поквитаться с ним перед смертью! Растерзаю негодника и

сожру!.. Ай, да вот же он, за тем деревом прячется! Смотрите, смотрите! Жирный трус!..

В тот же миг арудзи, а за ним и остальные четыре рокурокуби бросились на Кайрё. Но могучий монах, вырвав с корнем молодое деревце, принялся размахивать им, как дубиной, страшными ударами отбивая головы. Четыре из них в панике разлетелись в разные стороны и исчезли среди деревьев, но голова арудзи, несмотря на то что Кайрё колотил по ней стволом, продолжала отчаянно атаковать его и в конце концов намертво вцепилась зубами в рукав коромо. Кайрё, однако, не растерялся – быстро схватил голову за пучок волос и принялся бить ее что есть мочи. Челюсти от этого не разжались, но голова вдруг испустила долгий стон и перестала трепыхаться. Рокурокуби был мертв. А его зубы все так же впивались в рукав коромо, и при всей своей богатырской силе Кайрё не сумел их оторвать.

Он так и пошел обратно к дому – с мертвой головой, болтающейся на рукаве. В гостиной собрались в кружок четыре рокурокуби. Разбитые, залитые кровью головы крепко сидели на плечах. Едва увидев вошедшего через заднюю дверь Кайрё, чудовища с воплем «Монах! Монах!» вскочили, кинулись к другому выходу из логова и попрятались в лесу.

Небо на востоке уже светлело, вот-вот должно было расцвести зарей, а Кайрё знал, что нечисть опасна только в ночные часы. Он взглянул на голову, цепляющуюся за его рукав зубами, – лицо арудзи было перепачкано кровью, слюной и землей, – и весело расхохотался, подумав: «Отличный *миягэ*^[24] – голова лесного чудовища!» Затем, собрав свои пожитки, он неспешно двинулся вниз по склону горы.

Вскоре дорога привела Кайрё в провинцию Синано, в город Суву. Он гордо ступил на главную улицу и зашагал по ней, расправив плечи. Жуткая голова болталась на его рукаве, женщины одна за другой падали в обморок, а дети визжали и бросались врассыпную. Постепенно вокруг монаха столпились горожане, все глазели на него и перешептывались до тех пор, пока не появились *торитэ* (так в те времена называли полицейских). При виде странника они тотчас нарисовали себе картину преступления: монах убил человека, а тот в момент смерти вцепился зубами в его одежду, и злодей теперь разгуливает с таким трофеем. Кайрё схватили и поволокли в управу, поскольку он лишь улыбался и отмалчивался в ответ на все расспросы.

Проведя ночь в тюрьме, монах предстал наутро перед уездными судьями. У него потребовали объяснений – мол, как так вышло, что буддийский монах прицепил к рукаву мертвую голову и таким образом без зазрения совести оповещает мир о своем злодеянии?

Кайрё долго хохотал над этим вопросом. Отсмеявшись, он сказал:

– Ваша честь, ничего я не прицепил, она сама прицепилась, не спросив на то моего дозволения. И никаких злодеяний я не совершал. Ибо мертвая голова, которую вы видите, принадлежала не человеку, а лесному чудищу, и коли я это чудище убил, так не от кровожадности вовсе, а в целях самообороны... – И монах без утайки поведал судьям о своем приключении в горах, снова разразившись веселым смехом, когда речь дошла до его доблестного сражения с пятью рокурокуби.

Но судьи не смеялись. Они сочли Кайрё безжалостным преступником, а его рассказ – насмешкой над их здравым смыслом. Без дальнейшего дознания был вынесен приговор и постановлено, что казнь надлежит провести незамедлительно. Так решили все судьи, кроме одного, самого старшего. Этот почтенный чиновник молчал на протяжении всего судебного заседания, однако, услышав мнение коллег, он встал и высказался:

– Давайте-ка сперва повнимательнее осмотрим мертвую голову, ибо, сдаётся мне, никто еще не потрудился это сделать. Если монах нас не обманывает, голова сама засвидетельствует его невиновность. Принесите ее сюда!

Голову, по-прежнему сжимавшую в зубах рукав коромо, которое стражникам пришлось сорвать с плеч Кайрё, положили перед судьями. Старец повертел ее в руках, придирчиво осмотрел и обнаружил на шее несколько странных красных иероглифов. Он обратил на это внимание коллег и еще указал на то, что шея, по всем признакам, не была перерублена каким-либо оружием, ведь вместо раны на предположительной линии разреза гладкая кожа, и шея походит на черенок листа, отделившийся от ветки.

– Полагаю, монах сказал нам правду и ничего, кроме правды, – заключил старец. – Это определенно голова рокурокуби. В книге «Нанхой-буцуси» написано, что на тыльной стороне шеи настоящих рокурокуби всегда находят некие красные знаки. Вот они, пожалуйста, и можете сами убедиться, что эти знаки не написаны красной тушью, а имеют сверхъестественное происхождение. Кроме того, широко

известно, что подобные чудища обитают в горах провинции Каи с незапамятных времен... Но скажите-ка мне, уважаемый господин, – повернулся старец к Кайрё, – откуда столько храбрости в простом монахе? Вы явили беспримерную доблесть в сражении с нечистью, да и выглядите скорее как воин, нежели как духовное лицо. Возможно, вы некогда принадлежали к самурайскому сословию?

– Вы верно догадались, ваша честь! – поклонился Кайрё. – Прежде чем стать монахом, я долгое время шел по пути воина и в ту пору не боялся ни людей, ни злокозненных духов. Звали меня тогда Исогай Хэйдадзаэмон Такэцура. Не исключено, что кто-то из вас помнит мое имя.

При этих словах в помещении, где происходил суд, все взволнованно зашептались – оказалось, здесь многие помнили имя прославленного самурая. И Кайрё, только что стоявший перед грозными судьями, вдруг попал в окружение друзей, которые поспешили выразить ему свое восхищение. Монаха с почетом проводили в замок даймё, и тот устроил пир в его честь, а перед тем как отпустить гостя в странствие, преподнес ему богатые дары.

Покидая Суву, Кайрё был счастлив, насколько может быть счастлив монах в нашем изменчивом мире. Мертвую голову он конечно же прихватил с собой, шутливо заявив провожавшим его горожанам, что намерен преподнести ее кому-нибудь в качестве миягэ.

На этом история почти закончилась, осталось лишь поведать, что дальше случилось с головой.

Через пару дней после событий в Суве Кайрё повстречался с разбойником. Негодяй заступил монаху дорогу в безлюдном месте и потребовал отдать ему одежду. Кайрё без возражений снял коромо и бросил его грабителю. Лишь тогда тот увидел, что висит на рукаве. Смелости парню было не занимать, тем не менее он от неожиданности выронил коромо из рук и отскочил назад с криком:

– Да кто ты такой?! Думаешь, я поверю, что ты монах? Похоже, мне довелось встретить человека, который еще хуже, чем я! Признаюсь, я убивал людей, но у меня и в мыслях не было расхаживать с чьей-то головой на рукаве! Вот что, достопочтенный, раз уж мы с тобой собратья по ремеслу, позволь мне выразить свое восхищение! Эта

голова мне очень даже пригодится – народ пугать! Продашь ее, а? Взамен твоего коромо забирай мою одежду, а за голову я тебе дам пять рё!

– Раз уж ты настаиваешь, я отдам тебе и голову, и коромо, но должен предупредить, что это не человеческая голова. Она принадлежала рокурокуби. Так что, купив ее, ты рискуешь навлечь на себя большие неприятности в будущем. Говорю честь по чести, не обманываю.

– Ну до чего же ты убедительный монах! – расхохотался разбойник. – Убиваешь людей, да еще потешаешься над ними!.. Но я-то с тобой серьезно говорю. Вот моя одежда, а вот монеты – бери и давай мне голову. Чего шутики шутить?

– Ладно, забирай, – сказал Кайрё, принимая деньги. – Только я не шутил. И ничего смешного тут нет, кроме того, что ты, дурень, заплатил целых пять рё за голову лесного чудища.

И монах, посмеиваясь, зашагал своей дорогой.

Так разбойник обзавелся мертвой головой и монашеским коромо. Какое-то время он пугал людей на больших трактах, притворяясь привидением буддийского священника, а потом, случайно оказавшись в окрестностях Сувы, услышал подлинную историю головы и сам перепугался, что дух убитого рокурокуби с ним поквитается. Тогда он решил отнести голову на то место, откуда Кайрё ее забрал, и похоронить вместе с телом. Грабитель отыскал путь к уединенному домику в горах Каи, но никого там не встретил; от тела рокурокуби тоже никаких следов не осталось. Недолго думая он зарыл голову в роще возле домика, поставил над ней могильный камень и заказал службу сэгаки, дабы умиловить голодного духа рокурокуби.

Говорят (по крайней мере, в этом уверен японский сказитель, поведавший историю Кайрё), гробница рокурокуби и по сей день стоит на том месте.

Смертельная тайна

В давние времена на земле провинции Тамба жил богатый купец Инамурая Гэнскэ, и подрастала у него дочь по имени О-Соно. Девочка была хорошенькая и очень сообразительная, потому отец, решив, что от наставниц из уездного захолустья толку ждать не приходится, отправил дочь под опекой доверенных помощников в Киото, чтобы там она получила образование, достойное столичных барышень. Выучившись, О-Соно вышла замуж за друга семьи, купца по фамилии Нагарая, и счастливо прожила с ним три года, родив за это время мальчика. Но на четвертом году брака О-Соно заболела и умерла.



Вечером после похорон маленький сын сказал домочадцам, что мамочка вернулась и сейчас находится в своей комнате наверху, что она улыбнулась ему, но не произнесла ни слова, поэтому он испугался и убежал. Несколько членов семьи, поднявшись в бывшую спальню О-Соно, замерли от страха: в свете маленького фонарика перед домашним алтарем они увидели покойную хозяйку дома. Она стояла напротив *тансу* – комода со множеством ящичков, – где остались ее украшения и одежда. Голова и плечи О-Соно были четко различимы в скудном свете, а ниже фигура словно растворялась в воздухе, она казалась размытым отражением или полупрозрачной тенью на воде. Все в ужасе бросились прочь из спальни, а добравшись до гостиной, устроили совет. Мать мужа О-Соно сказала:

– Мы, женщины, нежно привязываемся к своим вещам, и О-Соно очень любила драгоценности и наряды, подаренные супругом. Быть может, она вернулась еще раз взглянуть на них? Духи многих усопших так поступают – возвращаются, пока родные не отнесут их вещи монахам. Если мы отдадим одежду и украшения О-Соно в храм, ее дух, возможно, наконец успокоится.

Все согласились, что это нужно сделать как можно скорее. Наутро ящички *тансу* были освобождены, а вещи О-Соно отправлены в храм. Но той же ночью она снова появилась в спальне наверху, и следующей ночью опять стояла напротив *тансу*, и так повторялось каждую ночь, пока в доме не воцарился невыносимый страх.

Тогда мать овдовевшего купца отправилась в храм, рассказала настоятелю о том, что у них происходит, и попросила помощи. Пожилой настоятель, известный под именем Дайгэн Осё, был последователем учения дзен и весьма образованным человеком.

– Должно быть, в *тансу* или рядом с ним находится нечто не дающее ей покоя, – предположил он.

– Но мы всё достали из ящичков, – сказала старая женщина, – в *тансу* уже ничего нет...

– Что ж, тогда я приду сегодня в ваш дом, проведу в комнате покойной всю ночь и посмотрю, что она будет делать, – решил Дайгэн Осё. – Предупредите домочадцев и слуг, чтобы никто не входил туда во время моего ночного бдения, если я не позову.

После заката настоятель явился в дом купца, поднялся в спальню О-Соно и остался там в одиночестве читать сутры. До наступления часа Крысы^[25] ничего не происходило. Затем вдруг перед тансу нарисовалась фигура О-Соно. Лицо ее было печально, а тоскливый взгляд устремлен на ящики комода.

Настоятель произнес предписанную в таких случаях мантру и окликнул женщину, назвав ее *каймё*^[26].

– Я пришел сюда помочь вам, – сказал он. – Вероятно, в тансу лежит то, что не дает покоя вашему духу. Вы позволите мне найти это для вас?

Настоятелю почудилось, что легким наклоном головы тень выразила согласие, поэтому он встал и открыл верхний ящик. Тот оказался пуст. Во втором, третьем, четвертом ящиках тоже ничего не было. Дайгэн Осё тщательно изучил пространство между ними и за ними, осмотрел стенки и дно комода, но так ничего и не нашел. Между тем призрак О-Соно по-прежнему оставался на месте, печально взирая на тансу.

«Что же ей нужно?» – подумал настоятель. Тут ему в голову пришло, что какой-нибудь документ может быть спрятан под бумагой, которой выстланы ящики. Он достал бумагу из первого – ничего. Достал из второго и третьего – тот же результат. Но под бумагой в самом нижнем ящике обнаружилось письмо.

– Вы печалитесь из-за *этого*? – спросил Дайгэн Осё. – Письмо не дает вам покоя?

Призрак повернулся к нему, взгляд тусклых глаз впился в конверт.

– Хотите, я его сожгу? – предложил настоятель.

Призрак склонился перед ним.

– Стало быть, обещаю: нынче же утром это послание сгорит дотла в храме. И никто, кроме меня, не узнает, что в нем написано.

Призрак улыбнулся и исчез.

Уже светало, когда Дайгэн Осё спустился в гостиную, где его в нетерпении дожидалось купеческое семейство.

– Можете не волноваться, – сообщил он. – Дух усопшей впредь не появится.

И О-Соно действительно больше ни разу не появилась в доме.

Письмо сгорело. Это было признание в любви, полученное О-Соно во времена ее учебы в Киото. Но о содержании послания знал только настоятель буддийского храма, и эта тайна умерла вместе с ним.

Юки-онна

В деревеньке, затерянной в провинции Мусаси, жили-были два дровосека – Мосаку и Минокити. В те времена, когда произошла эта история, Мосаку уже достиг преклонных лет, а Минокити, его ученику и помощнику, едва исполнилось восемнадцать. Каждый день они вдвоем ходили в лес за несколько ри от деревни. По пути туда нужно было пересечь на лодке широкую реку. Многие поколения местных жителей строили мост на месте переправы, но река, выходя из берегов в половодье, всякий раз его сносила, и люди отказались от борьбы со стихией.

Однажды студеным вечером Мосаку и Минокити возвращались домой. Надвигалась снежная буря, а лодочника на переправе они не застали – куда-то отлучился, бросив посудину на другом берегу. О том, чтобы пересечь реку вплавь, не могло быть и речи, так что дровосекам пришлось устроиться на ночлег в хижине лодочника – впрочем, в такое ненастье они были бы рады любому убежищу. Очага в хижине не обнаружилось, да и места, чтобы развести огонь, не хватало – это была лачужка на две циновки^[27], без окон и с одной дверью. Мосаку и Минокити задвинули засов и улеглись спать, укрывшись дождевыми накидками из соломы. Им даже показалось, что в хижине не так уж холодно, и появилась надежда, что буран скоро утихнет.



Старик Мосаку почти сразу заснул, а мальчик по имени Минокити долго лежал, вглядываясь в темноту и слушая яростный вой ветра-великана, бросавшего в ветхие стены огромные пригоршни снега. Совсем рядом глухо рокотала река, и ветхая лачуга скрипела на все лады, как джонка на бурных волнах. Метель все не унималась, с каждым мгновением воздух становился холоднее, так что Минокити под соломенной накидкой начал трясти озноб. Но в конце концов и ему удалось заснуть, несмотря на стужу.

Проснулся он от ощущения, будто в него бросили горсть снега. Открыв глаза, Минокити увидел, что дверь распахнута и в проем струится белесый снежный свет (*юки-акари*), а в лачуге находится женщина в снежно-белых одеждах, она склонилась над Мосаку и дышит ему в лицо белым клубящимся паром. В этот самый миг женщина подняла голову и метнулась к Минокити. Мальчик хотел закричать, но не смог выдать ни звука. Белая женщина склонялась над ним все ниже и ниже, ее лицо стремительно приближалось к его лицу. Минокити подумал, что незнакомка прекрасна, но ее глаза вселяли в него ужас. Несколько мгновений она пристально смотрела на него, а потом улыбнулась и прошептала: «Я собиралась поступить с тобой, как с тем стариком, но пожалела – ты такой молоденький и пригожий, Минокити, я не причиню тебе зла. Но если ты кому-нибудь расскажешь – пусть даже родной матушке – о том, что видел нынче ночью, я о том узнаю и убью тебя. Помни мои слова!»

Женщина выпрямилась и исчезла за дверью. Только тут Минокити снова обрел способность двигаться, вскочил и выглянул из лачуги. Но женщины нигде не было, лишь кружил в безумной пляске снежный ветер, который тотчас принялся рваться в хижину. Мальчик, захлопнув дверь, на всякий случай завалил ее изнутри поленьями. Он решил для себя, что дверь растворилась из-за порыва ветра, поскольку иначе как сновидением все случившееся признать не мог. Он попытался убедить себя, что в дремотном мороке принял клубившийся в дверном проеме снег за женскую фигуру, но уверенности в этом не чувствовал. Тогда он окликнул Мосаку и перепугался, когда старик не ответил. Минокити, вытянув руку, коснулся в темноте его лица – оно оказалось холодным как лед. Мосаку был мертв и уже остыл.

К рассвету буран утих. Лодочник, вернувшийся в свою хижину с первыми лучами солнца, нашел в ней мальчишку, лежащего без сознания рядом с окоченевшим трупом старика. Заботами лодочника Минокити быстро пришел в себя, но потом еще долго болел: никак не мог оправиться от последствий той ужасной морозной ночи. К тому же его до обморока перепугала смерть старого Мосаку. Однако о явлении женщины в белом он никому ничего не сказал. Поправившись в конце концов, Минокити вернулся к своему ремеслу дровосека – теперь он один уходил по утрам в лес, а затемно возвращался с вязанкой дров и потом вместе с матерью продавал их на рынке.

Через год, шагая домой зимним вечером, Минокити нагнал девушку, которая шла той же дорогой. Девушка была тоненькая, стройная и очень хорошенькая, а на приветствие Минокити она ответила нежным, как у певчей птицы, голоском. Дальше они пошли вместе. Девушка рассказала о себе, что ее зовут О-Юки^[28], недавно ее родители умерли, и теперь она направляется в Эдо, к дальним родственникам, которые могут пристроить ее куда-нибудь прислугой. Минокити между тем все больше поддавался ее чарам: чем дольше он смотрел на девушку, тем красивее она ему казалась. Осторожно спросив, нет ли у нее нареченного жениха, в ответ он услышал смех – О-Юки сказала, что она свободна, и в свою очередь спросила, не женат ли он и не сговорились ли родители о его будущей свадьбе. Минокити сообщил, что живет с овдовевшей матерью и, поскольку он еще слишком молод, речь о том, чтобы взять в дом «достойную невестку», пока не заходила. Обменявшись такими признаниями, они долгое время шагали молча, но, как гласит народная мудрость, *ки-га арэха, мэ мо кути ходо-ни моно-о ю* – «любовь говорит глазами красноречивее, чем устами». К тому времени, когда впереди показалась деревня, оба были очарованы друг другом, и Минокити предложил О-Юки погостить у них с матушкой. Немного поколебавшись, но в конце концов поборов смущение, девушка согласилась.

Мать Минокити тепло приняла гостью и подала ужин. Ей так понравилось скромное поведение девушки, что она предложила ей отложить путешествие в Эдо. И в результате конечно же О-Юки до

Эдо так и не добралась – она осталась в доме в качестве «достойной невестки».

Невесткой О-Юки и правда оказалась достойной. Через пять лет последними словами матушки Минокити перед смертью была похвала жене сына. О-Юки родила ему десять детей – хорошеньких девочек и мальчиков с белоснежной кожей.

Деревенские считали ее сказочным созданием, неведомо как очутившимся в их краях. Крестьянки стареют рано от тягот жизни, но О-Юки, даже десять раз став матерью, казалась столь же юной и свежей, как в тот день, когда она впервые появилась в деревне.

Однажды вечером, уложив весь выводок спать, О-Юки села шить при свете бумажного фонарика. Минокити долго любовался ею и наконец сказал:

– Гляжу, как ты склоняешь голову над шитьем в этом белесом свете, и вспоминается мне одна странная история, приключившаяся со мной, когда я был восемнадцатилетним юнцом. Тогда мне довелось увидеть женщину, столь же прекрасную, как ты, и у нее была такая же белоснежная кожа. И правда, вы с ней удивительно похожи...

Не поднимая глаз, О-Юки попросила:

– Расскажи о ней. Где вы встретились?

И Минокити рассказал о страшной зимней ночи в хижине лодочника, и о белой женщине, которая, склонившись над ним, улыбалась и шептала чудные слова, и о тихой смерти старика Мосаку.

– Не знаю, грезил я тогда или бодрствовал, – вздохнул он, – но в ту ночь в первый и в последний раз я видел женщину, равную тебе по красоте. Но она конечно же не принадлежала к миру людей и напугала меня до полусмерти... ужасно напугала... но у нее была такая белоснежная кожа!.. До сих пор не могу понять, видел я тогда сон, или же мне на самом деле явилась юки-онна – «снежная женщина»...

Тут О-Юки отложила шитье, встала, склонилась над сидевшим рядом мужем и закричала ему в лицо:

– Это была я, я, я!!! И ты слышал мое обещание убить тебя, если обмолвишься о той ночи хоть словом! Но ради наших деток, спящих в соседней комнате, я сохраню тебе жизнь. Только учти: теперь тебе придется заботиться о них изо всех сил, потому что, если кто-нибудь из малышей мне на тебя пожалуется, я поступлю с тобой так, как ты того заслуживаешь!

Ее голос становился все тише и тише, как удаляющийся вой ветра. О-Юки начала таять в воздухе, превращаясь в белоснежное искрящееся облачко тумана. Потом облачко потянулось к потолочным балкам и ускользнуло в дыру дымохода...

Больше ее никто не видел.

История Аояги

В годы правления под девизом Буммэй (1469–1486) на службе у Хатакэямы Ёсимунэ, правителя Ното, состоял молодой самурай по имени Томотада. Родился он в провинции Этидзэн, но в раннем возрасте был взят во дворец даймё Ното, где и постиг под руководством самого князя воинское искусство. За время ученичества Томотада проявил способности к наукам и показал себя доблестным воином, снискав тем самым расположение господина. Нравом он был покладист, в общении любезен, лицом пригож, и другие самураи относились к нему с уважением и приязнью.

Когда было Томотаде около двадцати лет, его отправили с тайным поручением к Хосокаве Масамото, великому даймё Киото и родственнику Хатакэямы Ёсимунэ. Путь в Киото лежал через провинцию Этидзэн, так что молодой самурай испросил разрешения задержаться там, чтобы проведать вдовствующую матушку. Разумеется, ему не отказали.



Из Ното он выехал, когда зима уже разгулялась, все вокруг замело снегом, и, хотя конь под Томотадой был выносливый, продвигался он медленно. Дорога петляла по горной местности, где селения попадались совсем редко. На второй день утомительного путешествия один безотрадный час сменял другой, и под вечер Томотаде стало ясно, что до ближайшего приюта он доберется лишь глубокой ночью. Молодой самурай забеспокоился, и на то была серьезная причина: надвигалась снежная буря, ледяной ветер уже хозяйничал в окрестностях, а изможденный конь начинал спотыкаться. И вдруг приунывший было Томотада заметил впереди соломенную крышу хижины на вершине поросшего ивами холма. С трудом заставив обессиленного скакуна подняться по склону, Томотада громко постучал в тяжелые ставни, защищавшие жилище от ветра. На стук выглянула старуха и при виде красивого юноши тотчас запричитала:

– Ох, жалость-то какая, молодой господин путешествует один-одинешенек в такое ненастье! Входите же скорее, милости просим!

Спешившись, Томотада отвел коня в сарай на заднем дворе и заторопился в дом. Там у очага, в котором потрескивала бамбуковая щепка, грелись старик и девушка. Путника почтительно пригласили сесть поближе к огню, а старуха со стариком тем временем принялись разогревать рисовое вино и готовить ужин для гостя, вежливо расспрашивая его о путешествии. Девушка почти сразу молча удалилась за ширму, но Томотада успел с удивлением заметить, что, несмотря на грязную, ветхую одежду и длинные спутанные волосы, она дивно хороша собой. Интересно, что такая красавица делает в бедняцкой хижине, затерянной в глуши?..

– Добрый господин, – между тем обратился к Томотаде старик, – до ближайшей деревни путь неблизок, а снег все валит, да и ветер крепчает, дорогу уж совсем засыпало. Скакать верхом нынче ночью – дело опасное. А потому, хоть наша лачуга и недостойна вашего присутствия, оставайтесь-ка у нас ночевать. Роскоши мы вам не обеспечим, зато будете в целости и сохранности. И о лошадке вашей мы позаботимся.

Томотада с благодарностью принял предложение, втайне порадовавшись возможности получше рассмотреть девушку.

Еда, приготовленная стариками, оказалась простой, но обильной, и хозяйская дочка вернулась из-за ширмы, чтобы подать гостю подогретое вино. Она переоделась и теперь сидела перед Томотадой в незамысловатом, но чистеньком домотканом кимоно, а буйные длинные волосы были тщательно расчесаны. Когда девушка наклонилась поближе наполнить чарку, молодой самурай замер от восхищения: юная крестьянка была прекраснее всех женщин, коих ему доводилось встречать, и двигалась она с несравненным изяществом. Но старики вдруг принялись за нее извиняться:

– Умоляем вашу милость простить Аояги^[29] за невежество и непочтительность! Что поделать, наша дочка выросла здесь, в горах на отшибе, и совсем не знает, как нужно прислуживать благородным господам...

Томотада немедленно возразил – дескать, он безмерно рад, что ему прислуживает столь очаровательная особа. При этом юноша глаз не мог отвести от Аояги, хоть и видел, что пристальное внимание ее смущает. Еда и вино меж тем оставались нетронутыми.

– Добрый господин, – забеспокоилась старуха, – мы надеемся, вы все же отведаете нашей скромной пищи. Угощение, конечно, не ахти какое, но вы, должно быть, озябли на ледяном ветру, а это поможет вам согреться.

Томотада, чтобы угодить старикам, через силу поел немного и пригубил вино, однако все его мысли были заняты Аояги, зардевшейся от смущения. Он заговорил с девушкой и обнаружил, что ее речи не менее прекрасны, чем облик. Если она действительно выросла в горах, ее родители, вероятно, когда-то занимали высокое положение в обществе, ибо манера вести беседу выдавала в ней барышню благородного происхождения. Неожиданно для себя Томотада, вдохновленный сладким томлением в сердце, сложил пятистишие, в котором таился вопрос к девушке:

Тадзунэцуру,
Хана ка тотэ косо,
Хи-о курасэ,
Акэну-ни отору

Аканэ сасуран?

«Торопился проведать родных, но в дороге цветком невольно залюбовался. Далеко еще до утра. Отчего же мерещится мне робкий отблеск алой зари?»^[30]

Не задумавшись ни на мгновение, Аояги ответила, и тоже пятистишием:

Идзуру хи-но
Хономэки иро-о
Вага содэ-ни
Цуцумаба асу мо
Кимия томаран.

«Если я рукавом закрою стыдливый румянец рассвета, тогда поутру, может статься, господин меня не покинет»^[31].

Томотада тотчас понял, что Аояги готова принять его ухаживания. Он немало удивился тому, как искусно она выразила свои чувства в стихах, и еще больше обрадовался оттого, что в них заключалось согласие. Теперь он не сомневался, что в целом мире не найти ему невесты прекраснее и умнее, чем сидящая перед ним простая крестьянская девушка. А если такая сыщется – как завоевать ее сердце? «Не уппусти удачу, посланную тебе богами!» – заполошно прокричал внутренний голос. Короче говоря, молодой самурай был околдован. Околдован настолько, что сей же час, без предисловий, попросил стариков отдать дочь ему в жены, после чего назвал свое имя, клан и ранг при дворе князя Ното.

Мать и отец Аояги, ошеломленные услышанным, бросились кланяться юному господину, наперебой восклицая от изумления. Однако старик быстро опомнился и после недолгого колебания заговорил:

– Ваша милость, вы уже занимаете высокое положение и, судя по всему, добьетесь в жизни еще большего. Честь, каковую вы намерены

нам оказать, слишком уж велика, и благодарность нашу не измерить и не выразить словами. Однако же извольте заметить: дочка наша – крестьянка низкородная, не обучена она ни грамоте, ни приличным манерам. Как же ей, замарашке этакой, быть женой благородного самурая? Немыслимое дело!.. Но коли уж она приглянулась вашей милости и вы готовы терпеть ее неотесанность и величайшее невежество, мы будем счастливы отдать ее вам в услужение. Впредь обращайтесь с нашей Аояги как вам заблагорассудится.

К утру снежная буря улеглась, на востоке взошло солнце, не стесненное облаками. И хотя Аояги рукавом кимоно скрыла от глаз влюбленного самурая «стыдливый румянец рассвета», задерживаться здесь дольше он не имел права. Но и ничто не могло принудить его расстаться с девушкой. А потому, когда все было готово, чтобы продолжить путешествие, Томотада снова обратился к ее родителям:

– Боюсь показаться неблагодарным, если потребую больше того, что уже от вас получил, однако же дерзну еще раз попросить руки вашей дочери. Покинуть ее сейчас – выше моих сил, и, если она согласится сопровождать меня, я с вашего позволения заберу ее с собой. Коли не откажете мне в просьбе, обязуюсь почитать вас как родных отца и мать... А пока примите это в знак моей признательности за ваше гостеприимство.

Сказав так, юноша положил перед хозяином лачуги кошель, полный золотых монет. Но старик, множество раз поклонившись, осторожно отодвинул подарок:

– Добрый господин, золото нам без надобности, а вам оно может еще пригодиться на долгом пути по здешним студенным землям. Нам тут нечего покупать, да и столько деньжищ двум старикам на себя никогда не потратить, даже если вдруг захочется... А что до нашей дочки, мы и так уже отдали ее вам в услужение, потому спрашивать у нас дозволение на то, чтоб ее увезти, нет нужды. К тому же она успела заявить нам, что мечтает, дескать, сопровождать молодого господина повсюду и оставаться при нем служанкой до тех пор, пока он будет терпеть ее присутствие. Мы со старухой только рады будем, если вы изволите взять Аояги с собой. В этой глуши мы даже чистой одеждой бедняжку обеспечить не можем, не то что приданым. Да и в годах мы оба, того и гляди, оставим дочку сиротой. Так что, забрав ее, вы всем нам окажете благодеяние.

Напрасно Томотада уговаривал стариков принять кошель с монетами – те отказывались наотрез, и в конце концов он убедился, что деньги им не нужны. Еще юноша понял, что родители искренне хотят доверить ему заботу о дочери, поскольку беспокоятся о ее судьбе. Так он принял окончательное решение увезти Аояги. Посадив девушку на своего коня, Томотада тепло попрощался со стариками и снова выразил им искреннюю благодарность.

– Ваша милость, – запротестовал старик, – это мы должны вас благодарить, а не вы нас! Мы знаем, что вы будете добры к Аояги, и можем не опасаться за ее безопасность.

Дальше в японском оригинале следует необъяснимый провал в повествовании, который по неизвестным причинам так и останется невосполненным. В тексте ничего не говорится ни о матери Томотады, ни о дальнейшей жизни родителей Аояги, ни о даймё провинции Ното. Можно предположить, что автор, утомленный рассказом, решил поскорее подвести историю к ее неожиданной развязке, презрев подробности. Я не могу восстановить события, о которых он умалчивает, равно как и исправить ошибки в композиции текста. Однако осмелюсь добавить некоторые пояснения, поскольку без них развитие сюжета покажется нелогичным... Итак, судя по всему, Томотада опрометчиво привез Аояги напрямик в Киото, чем и навлек на себя неприятности. Где пара поселилась впоследствии, нам неизвестно.

...В те времена самураю не позволялось жениться без одобрения его господина, а Томотада не мог получить согласие Хатакэямы Ёсимунэ, пока не выполнит его поручение в Киото. При таких обстоятельствах у него были все основания опасаться, что красота Аояги привлечет нежелательное внимание – ведь в таком случае кто-нибудь просто похитит девушку, а он, не будучи законным мужем, не сумеет ее вернуть. Поэтому в Киото молодой самурай старался держать возлюбленную подальше от любопытных глаз. Однако случилось так, что слуга князя Хосокавы ненароком увидел Аояги, проведал о ее связи с Томотадой и доложил обо всем своему повелителю. Молодой

князь – большой ценитель женской красоты – тотчас повелел доставить девушку в замок. Приказ выполнили без промедления и без особых церемоний.

Томотада был безутешен еще и оттого, что прекрасно понимал: он не в силах что-либо сделать. Юный самурай был всего лишь скромным посланником на службе у даймё из дальней провинции и в ту пору находился во власти другого, более могущественного князя, чьи желания надлежало выполнять беспрекословно. Кроме того, Томотада знал, что виной всему стала его же собственная глупость: вступив в тайную связь с женщиной, он нарушил кодекс чести воинского сословия. Оставалась одна отчаянная надежда: вдруг Аояги удастся ускользнуть из княжеского замка и сбежать с ним? После долгих раздумий молодой самурай решился послать ей весточку. Разумеется, это было очень опасно: любое послание, переданное для Аояги, могло оказаться в руках Хосокавы, а любовная переписка с наложницами князя считалась серьезным преступлением. И все же Томотада пошел на риск. Он сочинил послание в форме китайского четверостишия и попытался отправить его Аояги.

В четверостишии насчитывалось всего двадцать восемь иероглифов, но с их помощью юноша сумел передать всю глубину своей страсти и боль утраты^[32]:

Коси о-сон годзин-о о;
Рёкудзу намида-о тарэтэ ракин-о хитатару;
Комон хитотаби иритэ фукаки кото уми-но готоси;
Корэ ёри сёрокорэ родзин.

«Следует неутомимо князь молодой за девой, чья красота затмевает сияние самоцветов. А дева слезы роняет, и вымокло платье от них. Но ничто не удержит облеченного властью – страсть, разгоревшись однажды, уже не уймется. Я же остался один, всеми покинутый. Брожу неприкаянный...»

Вечером того дня, когда послание было передано в замок, Томотаду вызвали в покои князя Хосокавы. Юноша тотчас заподозрил, что

доверенный человек, согласившийся отнести весточку Аояги, предал его. Если даймё прочитал четверостишие, все пропало – избежать сурового наказания не удастся. «Он прикажет казнить меня, – подумал Томотада. – Но зачем мне жить без Аояги? Пока будут произносить смертный приговор, я, по крайней мере, могу попытаться убить Хосокаву». Засунув мечи за пояс, он поспешил в замок.

В тронном зале на возвышении восседал князь Хосокава в окружении самураев высокого ранга. Все были в парадных одеждах и головных уборах. При виде Томотады никто не издал ни звука. И пока он приближался к правителю Киото для церемониального поклона, это всеобщее молчание казалось ему зловещим и гнетущим, как затишье перед бурей. Но вдруг Хосокава поднялся, сошел с возвышения и, взяв юношу за руки, начал на память читать его четверостишие: «Коси о-сон годзин-о о...» И Томотада, подняв голову, увидел слезы восхищения в глазах молодого правителя.

– Раз уж вы с Аояги так любите друг друга, я возьму на себя труд одобрить ваш брак вместо моего любезного брата, даймё Ното. И да будет свадебный пир устроен сегодня же в моем замке! Гости уже прибыли и подарки припасены!

По знаку князя служители раздвинули перегородки, скрывавшие соседние покои, – Томотада увидел множество придворных сановников, собравшихся на пир, и Аояги в наряде невесты... Так возлюбленная вернулась к нему. Свадьба была веселой и роскошной, а князь и все его приближенные поднесли жениху и невесте богатые дары.

После свадьбы Томотада и Аояги прожили пять счастливых лет. Но однажды утром Аояги, болтая с мужем о домашних делах, вдруг громко вскрикнула от боли и страшно побледнела.

– Простите, что напугала вас, но боль была такой внезапной... – слабым голосом произнесла Аояги. – Мой господин, в этом мире вас привела ко мне кармическая сила, уже соединявшая нас в прошлых существованиях. И в будущих воплощениях она еще не раз свяжет наши судьбы узами счастья. Но сейчас, в этой жизни, мы с вами должны расстаться. Умоляю, прочтите скорее для меня «Нэмбуцу»^[33], ибо я умираю.

– Что ты такое выдумала?! – изумленно воскликнул самурай. – Тебе просто нездоровится, милая. Приляг отдохни – и все пройдет!

– Нет-нет, я умираю, это не выдумки, – печально сказала она. – Теперь уж, мой господин, нет нужды скрывать от вас правду. Так знайте же, что я не человек. Во мне живет дух ивы. Ивовое сердце стучит в моей груди, ивовый сок течет по венам. И кто-то в этот самый момент рубит мое дерево. Поэтому я умираю. И даже заплакать уже нет сил. Скорей, скорей, прошу вас, прочтите «Нэмбуцу»... скорей!.. ах!..

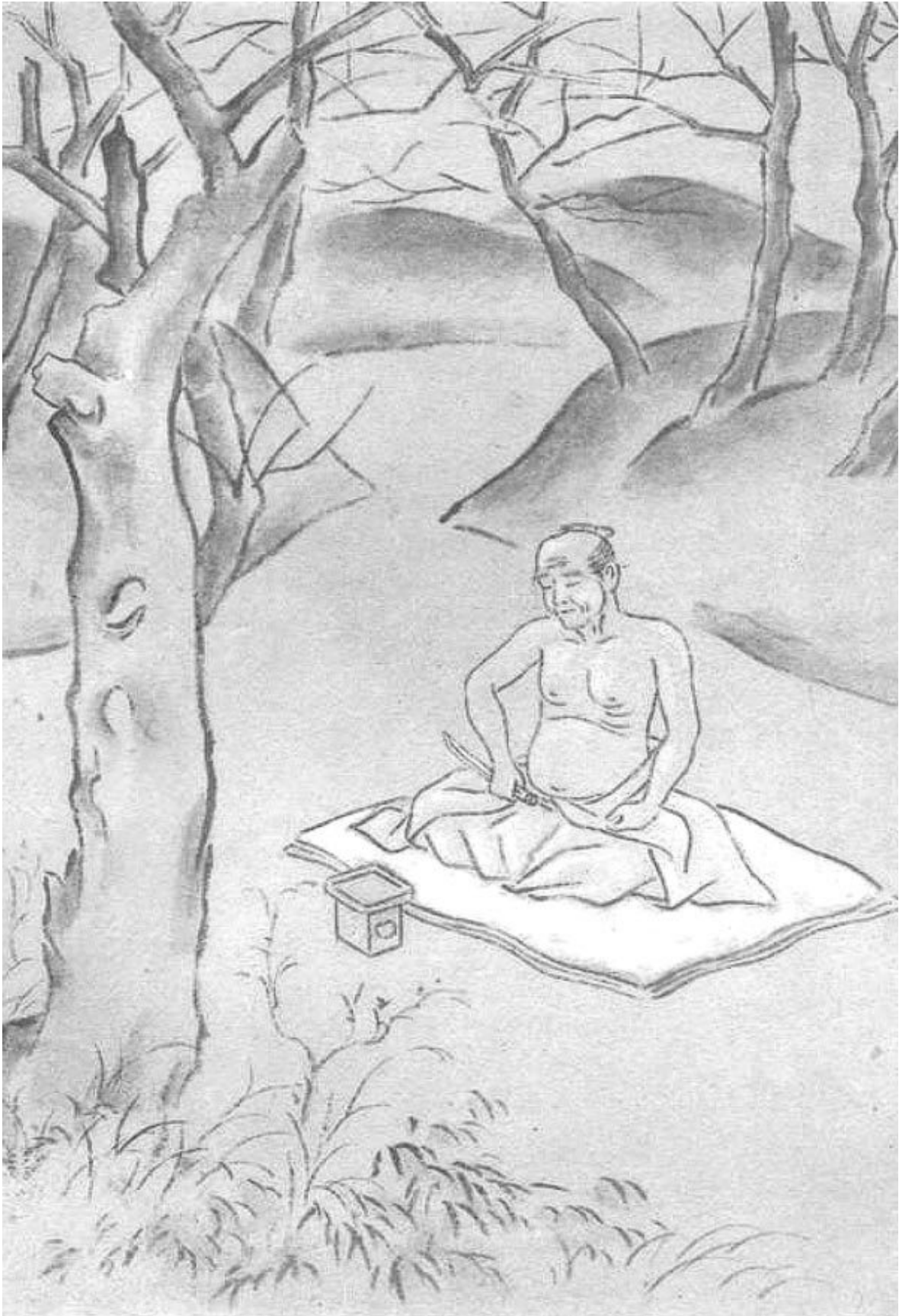
Издав еще один ужасный крик, Аояги отвернулась и попыталась закрыть свое прекрасное лицо рукавом. Но в это самое мгновение вся ее фигура обмякла и начала оседать, вернее, странным образом оплывать, опускаясь все ниже и ниже. Томотада бросился к жене, чтобы поддержать ее. Но уже некого было поддерживать. На циновках лежали только одежды сказочного существа и украшения, которые были у Аояги в волосах. Тело исчезло.

Томотада обрил голову, принял буддийский обет и стал странствующим монахом. Он обошел все провинции империи и в каждом храме на своем пути читал поминальные сутры о духе Аояги. Однажды дорога завела его в провинцию Этидзэн, и он вспомнил о родителях возлюбленной. Но, добравшись до уединенного холма, на котором когда-то стояла лачуга, ничего там не обнаружил. Не нашлось даже следов того, что здесь было человеческое жилище. Только три ивовых пня торчали из земли – кто-то срубил две старые ивы и одну молодую задолго до прихода монаха.

Рядом с тремя пнями Томотада поставил могильный камень, нанес на него священные сутры и совершил буддийские обряды в память о духах Аояги и ее родителей.

Дзюрокудзакура

В Вакэгори, уезде провинции Иё, растет очень старое дерево, известное всей округе под названием Дзюрокудзакура, что означает «вишня шестнадцатого дня». Такое название оно получило потому, что цветы его каждый год распускаются в шестнадцатый день первого месяца по старинному лунному календарю, и только в этот день. Получается, что цветение Дзюрокудзакуры приходится на самое студеное время года, тогда как у прочих вишневых деревьев заведено дожидаться весны и лишь тогда выпускать на волю бутоны. Но цветы Дзюрокудзакуры питают жизненные соки, которые не принадлежат этому дереву. Или, по крайней мере, принадлежали ему не всегда. В Дзюрокудзакуре живет дух человека.



Он был самураем из Иё, а вишня росла в его саду, и цвела она в ту пору в самое обычное для вишен время, то есть примерно в конце марта – начале апреля. Самурай играл под деревом, когда был ребенком; его отец, дед и прадед на протяжении сотни лет весна за весной привязывали к усеянными цветами вишневым веткам пестрые бумажные ленточки с написанными на них гимнами богам. Самурай и сам состарился рядом с деревом, пережив всех своих детей, и ничего в жизни у него не осталось, кроме этой вишни. Но однажды летом дерево засохло.

Самурай горевал так, что больно было смотреть. Поэтому соседи нашли для него молодое вишневое деревце дивной красоты и посадили в его саду в надежде, что это утешит старика. Он тепло поблагодарил добрых людей и сделал вид, что рад подарку, но сердце его разрывалось от скорби. Самурай слишком сильно любил свою вишню, и ничто не могло восполнить ему утрату.

В конце концов его посетила счастливая мысль: он вспомнил легенды о том, как можно спасти мертвое дерево. (Был шестнадцатый день первого месяца.) Самурай поспешил в сад, склонился перед иссохшей вишней и сказал ей: «Прошу тебя, расцвети сегодня еще один раз, ибо я готов умереть вместо тебя». (В тех краях действительно верили, что человек может отдать свою жизнь за другого человека, или за животное, или даже за растение, если богам будет угоден такой обмен; по-японски это называлось *мигавари-ни тацу* – «стать заместителем».) Затем самурай расстелил под деревом белое полотнище и несколько циновок, сел на циновки и выполнил обряд *сэнпуку* по всем правилам воинского сословия. Его дух вселился в вишневое дерево, и в тот же час оно расцвело.

С тех пор эта вишня так и цветет каждый год в шестнадцатый день первого месяца в заснеженном саду.

Сон Акиноскэ

В уезде Тоити провинции Ямато жил некогда *госи* по имени Мията Акиноскэ. (Тут следует пояснить, что в феодальной Японии было привилегированное сословие воинов, получавших в пользование наделы земли, – мелкопоместное дворянство, вроде английских йоменов, и назывались его представители «госи».)

В саду у Акиноскэ рос могучий древний кедр, под которым он любил отдыхать в жаркие дни. Однажды, на редкость знойным вечером, Акиноскэ укрылся под кедром с двумя приятелями *госи*. Троица беседовала, потягивая вино, как вдруг хозяйина охватила дремота, да такая, что он немедленно извинился перед гостями и попросил у них дозволения поспать часок в их присутствии, после чего улегся у подножия дерева, мгновенно заснул и увидел сон.



Акиноскэ снилось, что он лежит в саду, а по склону ближнего холма спускается процессия – будто какой-то очень важный даймё решил прогуляться с многочисленной свитой. Акиноскэ уставился на сказочное зрелище во все глаза. Процессия была небывалого размаха и величия – прежде он ничего подобного не видел, – и направлялась она в сторону его скромного жилища. Возглавляли шествие несколько молодых людей в богатых нарядах, тянувшие за собой огромную лакированную карету-госёгуруму, украшенную голубыми шелками. Приблизившись к дому гози, процессия остановилась, и пышно разодетый человек – определенно сановник немалого ранга – выступил из рядов, подошел к Акиноскэ и, отвесив ему низкий поклон, заговорил:

– Почтенный господин, перед вами *кэрай* – вассал кокуо Токоё^[34]. Мой повелитель, могущественный царь, послал меня поприветствовать вас от его имени. Отныне я всецело в вашем распоряжении. Его величество также велел известить, что он желает видеть вас в своем дворце. Не изволите ли сесть в сию карету? Царь прислал ее за вами, дабы могли вы совершить путешествие со всем удобством.

Выслушав эту речь, Акиноскэ хотел было достойно ответить, но он был слишком потрясен и озадачен предложением. В то же время ему почудилось, будто кто-то лишил его воли и он не может отказать в том, о чем его просит кэрай. Акиноскэ сел в карету, сановник немедленно занял в ней место напротив, подал знак молодым людям, и те, схватившись за шелковые канаты, потянули огромную госёгуруму за собой на юг.

К удивлению Акиноскэ, очень скоро карета остановилась у больших двустворчатых ворот-ромон в китайском стиле – он не сомневался, что раньше их не было в окрестностях поместья. Кэрай вышел из кареты и, сказав, что спешит сообщить о прибытии дорогого гостя, исчез за воротами. Спустя некоторое время Акиноскэ увидел двух мужей благородного облика в одеждах из пурпурного шелка и длинных головных уборах, указывавших на высокий придворный ранг. Оба направлялись к нему от ворот. Почтительно поприветствовав гози, они помогли ему выйти из кареты, а затем повели его через огромные распахнутые створки и дальше, по обширному саду, ко входу во

дворец. Казалось, этот огромный чертог простирается с востока к западу на многие ри. Вскоре Акиноскэ очутился в просторном, роскошно убранном зале. Провожатые предложили ему занять почетное место, а сами скромно уселись в стороне. Прислужницы в церемониальных облачениях принесли освежающие напитки. Когда Акиноскэ утолил жажду, два сановника в пурпуре, низко поклонившись ему, завели такую речь, и говорили они по очереди, согласно требованиям дворцового этикета:

- Долг велит нам поведать дорогому гостю...
- ...о том, почему он призван в эти покои.
- Наш повелитель, царь Токоё, в своей высочайшей милости...
- ...желает видеть вас своим зятем...
- ...и повелевает сегодня же взять в жены...
- ...его дочь, юную царевну.
- Чуть позже мы отправимся в тронный зал...
- ...где его величество уже дожидается встречи с вами.
- Однако прежде необходимо облачить вас...
- ...в надлежащий церемониальный наряд^[35].

Закончив речь, сановники одновременно встали и направились к нише, в которой стоял большой лакированный ларец, украшенный золотом. Открыв ларец, они принялись доставать оттуда одежды и пояса из драгоценных тканей, а под конец извлекли *камури* – царский головной убор. Наряженного, как подобает жениху из царского рода, Акиноскэ препроводили в тронный зал. Там на *дайдзе*^[36] восседал сам кокуо Токоё в высоком черном головном уборе верховного правителя и в пышном облачении из желтого шелка. Перед дайdzой, справа и слева, сидели, согласно придворным рангам, бесчисленные вельможи. Все хранили молчание и были неподвижны, точно изваяния в храмах. Акиноскэ, дойдя до середины зала, по обычаю, три раза простерся перед государем. Тот любезно поприветствовал его в ответ и сказал:

– Тебя уже известили, зачем ты призван пред наши очи. Мы желаем, чтобы ты стал супругом нашей единственной дочери, и свадебная церемония состоится безотлагательно.

Едва царь умолк, зазвучала веселая музыка, и вереница прекрасных придворных дам появилась из-за полога. Окружив Акиноскэ, они повели его туда, где жениха ждала невеста.

В соседнем огромном зале едва хватило места для гостей, явившихся на свадебный пир. Все склонились перед Акиноскэ, вставшим коленями на приготовленную для него подушечку напротив царевны. Дочь повелителя Токоё оказалась девой небесной красоты, и наряд ее был прекрасен, как летний небосвод.

Свадьбу сыграли шумно и весело. После торжественной церемонии новобрачных препроводили через долгую вереницу апартаментов в ту часть дворца, где для них были приготовлены покои, и там они принимали поздравления от высокопоставленных особ и свадебные дары без счета.

Через несколько дней Акиноскэ снова призвали в тронный зал. На сей раз его приняли с еще бóльшим почетом, и царь сказал:

– На юго-западе наших владений есть остров под названием Райсю, и мы изволим назначить тебя его наместником. Люди там живут верные и покорные, однако же законы их до сих пор не приведены в соответствие с законами Токоё, и обычаям их не придано должное единообразие, посему мы возлагаем на тебя ответственность за наведение порядка в укладе жизни наших подданных в меру сил и возможностей и желаем, дабы ты управлял островом мудро и справедливо. К твоему путешествию на Райсю уже все подготовлено.

Сказано – сделано. Акиноскэ с молодой женой покинул дворец кокуо Токоё. В сопровождении пышной свиты из благородных господ и придворных сановников они прибыли в гавань, где их поджидал царский корабль. Попутные ветра благополучно донесли супружескую чету до острова Райсю, и там их встретили добрые островитяне, собравшиеся на берегу поприветствовать своего правителя.

Акиноскэ немедленно приступил к выполнению государственных обязанностей, благо оказались они не слишком обременительными. Первые три года наместничества он занимался главным образом упорядочиванием старых и введением новых законов – тут ему во многом помогали мудрые советники, да к тому же и сам он находил удовольствие в этой работе. Когда с наведением порядка в законодательстве было покончено, никаких важных дел у Акиноскэ не осталось, кроме необходимости присутствовать на ритуалах и церемониях, предписанной старинными обычаями. Воздух на Райсю был чистым, земля – плодородной, и население его не знало недугов и нужды. А люди там обитали столь добронравные, что все законы

исправно соблюдались. Так Акиноскэ жил и наместничествовал еще двадцать лет – и за все двадцать три года правления тень печали ни разу не омрачила его пребывания на острове.

Однако на двадцать четвертом году нагрянула беда. Любезная супруга, подарившая ему семерых детей – пятерых мальчиков и двух девочек, – внезапно заболела и умерла. Ее похоронили с царскими почестями на вершине самого прекрасного холма в уезде Ханрёко, а на могиле поставили величественный памятник. Акиноскэ так убивался по любимой жене, что жизнь была ему не мила.

Когда истекло положенное время траура, из дворца в Токоё на остров Райсю прибыл царский посланник. Передав Акиноскэ государеву грамоту с соболезнованиями, он сказал:

– Его величество царь Токоё велел мне повторить вам его слова: «Мы полагаем, настало время тебе вернуться к своему народу, в родную страну. Что до семерых детей, каковые являются царскими внуками и внучками, они получают попечение и воспитание, подобающее столь высокому рангу, а стало быть, о судьбе их изволь впредь не беспокоиться».

Выслушав посланника, Акиноскэ безропотно приготовился к отъезду. Когда вещи были собраны и церемония прощания с советниками и приближенными закончилась, островитяне с великими почестями сопроводили бывшего наместника в гавань. Там Акиноскэ поднялся на борт присланного за ним корабля, и корабль понесся вдаль по синему морю под синим небом. Остров Райсю, удаляясь, тоже сделался синим, затем серым, после чего и вовсе пропал навсегда... А Акиноскэ вдруг проснулся под древним кедром в собственном саду.

Несколько мгновений он не мог понять, где находится. Затем, ошеломленно оглядевшись, увидел старых приятелей гози – те сидели на том же месте, оживленно болтая и потягивая рисовое вино. Акиноскэ уставился на них в полнейшем замешательстве и громко воскликнул:

– Вот чудеса!

– Акиноскэ, должно быть, успел увидеть сон! – засмеялся один из друзей. – И что же за чудеса тебе пригрезились, Акиноскэ?

Тогда хозяин поместья рассказал им свой сон длиной в двадцать три года – о прибытии в царство Токоё и жизни на острове Райсю.

Приятели пришли в изумление, потому что на самом-то деле он проспал не больше пяти минут.

Один госи сказал:

– Да уж, и правда рассказ о чудесном. Но мы тоже видели кое-что странное, пока ты спал. Над твоим лицом вдруг закружилась маленькая желтая бабочка, затем села за твоей спиной на землю, возле самого дерева, и тут, едва она приземлилась, из норы под кедром вылез огромный муравей, схватил ее и уволок за собой в нору. А перед тем как ты проснулся, та же самая желтая бабочка выпорхнула из норы, снова покружилась над твоим лицом и внезапно исчезла. Ума не приложу, куда она подевалась.

– Может статья, это была душа Акиноскэ? – предположил второй госи. – Могу поклясться, я видел, как она влетела ему в рот... Но даже если бабочка действительно была душой Акиноскэ, это не объясняет его загадочного видения.

– Муравьи могли бы объяснить, – отозвался первый госи. – Муравьи – странные существа, некоторые считают их дүхами... Кстати, прямо под этим кедром большое муравьиное гнездо.

– Давайте посмотрим! – воскликнул Акиноскэ, страшно взволнованный. И бросился в дом за лопатой.

Земля вокруг кедра и меж его корней оказалась изрыта вдоль и поперек огромной колонией муравьев. Ходы, проложенные ими в земле, имели причудливую форму, и вся конструкция подземного муравейника, построенного из соломы, глины, земли и стеблей растений, напоминала город в миниатюре. В центре муравейника была большая площадка, на которой мелкие муравьи роились вокруг одного крупного, с желтоватыми крыльшками и вытянутой черной головой.

– Да это же царь из моего сна! – вскричал Акиноскэ. – А перед нами не что иное, как дворец в Токоё! Диво дивное!.. Остров Райсю должен быть где-то к юго-западу от дворца, слева от того большого корня... Вот он!.. Но до чего странно все это... Готов побиться об заклад, сейчас я найду холм в уезде Ханрёко и гробницу царевны...

Акиноскэ устремился на поиски гробницы, не замечая, что разрушает муравейник. Он искал, искал и нашел наконец крошечную горку, на которой лежал обкатанный водой речной гольщ, формой своей напоминавший буддийский могильный памятник. А под этим камешком в глине покоилось мертвое тело муравьиной самки.

Рики-бака

Его звали Рики, что означало «силач», но местные неизменно прибавляли к этому имени прозвище *бака* – «дурачок», ибо разум его навсегда остался во младенчестве. По той же причине люди относились к нему по-доброму и не побили, когда он чуть не спалил чей-то дом – бросил горящую спичку на занавеску, которая уберегала жилище от насекомых, и восторженно хлопал в ладоши, любуясь буйным пламенем. В свои шестнадцать лет Рики-бака был высоким крепким парнем, но по уровню умственного развития не уступил бы разве что двухгодовалому ребенку и потому дружбу водил с малой детворой, участвуя в их детских забавах. Соседские ребята постарше, от четырех до семи лет, водиться с ним не хотели – дурачок не мог выучить их песенки и правила дворовых игр. Любимой игрушкой Рики-баки было древко метлы, служившее ему лошадкой; он часами скакал на палке верхом по кособору напротив моего дома, оглашая окрестности радостным гыгыканьем. В конце концов производимый дурачком шум начал меня утомлять, и пришлось попросить его подыскать себе другое место для кавалерийских упражнений. Он поклонился мне и покорно убрел прочь, грустно волоча за собой палку. Покладистый и в общем-то безобидный – если в пределах его досягаемости не было открытого огня, – Рики-бака редко навлекал на себя чье-то недовольство. В жизни нашей улицы он занимал не больше места, чем какая-нибудь собака или курица, так что, когда он вдруг исчез, я этого, можно сказать, и не заметил. Прошло довольно много времени, прежде чем у меня появился повод о нем вспомнить.



– А что случилось с нашим дурачком? – поинтересовался я у старого дровосека, снабжавшего весь квартал дровами. Рики часто помогал ему перетаскивать поленья, вот и пришел мне на ум.

– Это вы про Рики-баку? – уточнил старик. – Ох, так ведь помер бедолага. Ну да, меньше года минуло с тех пор, как он взял вдруг да и помер. Врачи сказали, у него какая-то болезнь мозга была. А после этого одна странная история приключилась... Когда парень помер, матушка написала на его левой ладони «Рики» китайскими иероглифами и «бака» – каной^[37]. И стала молиться, чтобы в следующей жизни ему больше повезло. Спустя три месяца у Нанигаси-самы, богача из Кодзимати, родился сын. И все заметили, что у младенца на левой ладошке проступают какие-то знаки. Присмотрелись – а там написано «РИКИ-БАКА»! Домочадцы сразу поняли, что рождение мальчика стало ответом на чьи-то молитвы, и начали повсюду искать того, кто их возносил. В конце концов от местного зеленщика они узнали, что в квартале Усигомэ жил дурачок, которого так и звали – Рики-бака, и что он умер прошлой осенью. Нанигаси-сама тотчас послал двух помощников взглянуть на мать этого парня. Слуги нашли мать Рики, и она рассказала им все как было, а сама порадовалась, что ее сыночку все-таки повезло, ведь Нанигаси – богатый и знатный род. Но слуги сказали ей, что семья Нанигаси-самы премного недовольна тем, что на ручке у их отпрыска написано «бака». «Где похоронен ваш Рики?» – спросили они. «На кладбище при Дзэндодзи», – ответила женщина. «Нам нужна горсть земли с его могилы, – сказали слуги. – Будьте любезны нас туда проводить». Мать Рики, стало быть, пошла с ними к храму Дзэндодзи и показала место погребения сына. Слуги взяли горсть земли, завернули в *фуросики*^[38] и унесли с собой. Они дали женщине немного денег. Десять иен.

– А зачем им понадобилась земля? – спросил я.

– Так ведь сами подумайте – каково будет ребенку расти со словом «дурачок» на ладошке! А избавиться от надписи, если она появилась таким образом, можно лишь потеряв ее земель с могилы, где покоится тело, служившее духу в предыдущей жизни...

Химавари

В лесу на холме неподалеку от дома мы с Робертом ищем ведьмины круги^[39]. Роберту восемь, он пригожий и очень умный. Мне почти семь, и я благоговею перед Робертом. Стоит раскаленный, искрящийся августовский день; остро и сладко пахнет древесной смолой.

Ведьмины круги мы так и не находим. Зато обзаводимся целой коллекцией сосновых шишек, прятанных от нас в густой траве.

Я рассказываю Роберту старинную валлийскую легенду о человеке, который случайно заснул в ведьмином круге и исчез на семь лет, а потом, когда друзья вызволили его из колдовской ловушки, никогда уже ничего не ел и не разговаривал.



– Они едят игольные ушки, – сообщает Роберт.

– Кто? – удивляюсь я.

– Гоблины^[40].

Я замираю, в мистическом трепете осмысливая это откровение, а Роберт кричит:

– Арфист! Вон он, к дому идет!

И мы несемся вниз по склону холма слушать арфиста-сказителя...

Но кого же мы видим? Не изящного седовласого барда из книжек с картинками, а смуглого, коренастого, всклокоченного бродягу, и черные глаза его нагло поблескивают из-под таких же черных кустистых бровей. Он похож скорее на какого-нибудь каменотеса, чем на сказителя. А еще на нем кошмарные вельветовые штаны!

– Интересно, он будет петь по-валлийски? – шепчет мне Роберт.

Я так разочарован, что не отзываюсь. Бродяга между тем ставит арфу – здоровенный инструмент – на наше крыльцо, проводит своей лапницей с заскорузлыми пальцами по всем струнам, затем хрипло прочищает горло (это похоже на злобное рычание) и заводит песнь: «Поверь мне, если прелесть юности, ласкающая ныне взор, на завтра истаёт, как чары, как морок...»^[41]

Его интонации, жесты, голос – все вызывает у меня невыразимое отвращение, я вдруг понимаю, что такое «пошлость». Мне хочется закричать: «Вы не имеете права петь эту песню!» – ибо ее волшебные строки я уже слышал из уст самого прекрасного, самого дорогого моему крошечному сердцу человека, и то, что какой-то грубый, гадкий бродяга осмелился произнести их, оскорбляет меня, как жестокая насмешка, злит, как несусветная наглость... но лишь несколько мгновений! На словах «как чары, как морок» его хриплый, зловещий голос вдруг начинает трепетать от беспредельной нежности, а потом чудесным образом обретает торжественное, глубокое, низкое звучание большого органа, и от странного, неведомого чувства у меня внезапно перехватывает дыхание... Неужто он волшебник? Что за тайны открылись угрюмому бродяге с больших дорог? Найдется ли в мире хоть один человек, поющий так же, как он?.. Облик арфиста дрожит и плавится у меня перед глазами, дом, лужайка, строгие очертания всего вокруг текут и размываются в воздухе. И все же в глубине души у меня остается страх перед этим человеком, я питаю к нему неприязнь и

чувствую, что лицо мое начинает пылать от гнева и стыда, потому что ему удалось так взбудоражить мои чувства...

– Он заставил тебя разреветься, – сочувственно говорит заметивший мое смятение Роберт, когда арфист уходит, прихватив наш шестипенсовик и даже не поблагодарив за вознаграждение. – Наверное, он цыган. Цыгане – дурные люди, все как один колдуны. Побежали в лес!

Мы снова карабкаемся по склону к соснам, садимся на корточки в траве, переплетенной с солнечными лучами, и смотрим поверх города на море. Игра не ладится – мы оба все еще пребываем под действием чар колдуна-арфиста.

– Может, он гоблин? – осмеливаюсь я предположить. – Или злой эльф?

– Нет, – говорит Роберт, – обычный цыган. Но неизвестно, что хуже. Цыгане ведь детей воруют, знаешь ли...

– А что мы будем делать, если он придет сюда? – Я замираю от страха, внезапно вспомнив, что мы на холме совсем одни.

– Да вряд ли придет, – качает головой Роберт. – При дневном свете побоится...

Вчера возле деревни Таката я заметил желтый цветок, который японцы называют почти так же, как мы. «Химавари» означает «обращенный к солнцу». И в моей памяти вдруг снова зазвучал голос бродячего арфиста, услышанный сорок лет назад: «Сияющего бога своего подсолнух провожает тем же взором, каким наутро его встретил в час восхода». И перед моими глазами опять заплескались золотистые озера света на валлийском холме, и Роберт на мгновение предстал передо мной таким, каким был в тот день, – я словно наяву увидел его хорошенькое девчачье личико и солнечные локоны. Мы искали ведьмины круги...

От того, настоящего, Роберта ничего не осталось. Он давно превратился в богатого и чужого человека. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих...»^[42]

Хорай

Синяя бездна обнимает синюю высь – море и небо сплелись в одно сверкающее марево. Весенний день только что родился. Раннее утро.

Лишь небо и море, неразрывная лазурная бесконечность... На первом плане морская зыбь заманивает солнечных зайчиков в белопенные хороводы. Но чуть дальше всякое движение замирает и блекнут краски: ослепительная синева воды темнеет и становится тусклой, растворяясь в такой же неяркой синеве воздуха. Линии горизонта нет – расстояние теряется в пространстве, под вами бездонная пучина, над вами гигантский небосвод, и чем выше, тем глубже цвет. А посреди всей этой синевы робко и слабо проступают очертания дворцовых башен, с крышами изогнутыми и рогатыми, как полумесяцы, – смутное отражение древнего диковинного великолепия, освещенное солнечным светом, ненадежным, как память...



Я попытался описать вам *какэмоно* – японскую картину на шелке, висящую в нише моей спальни. Картина эта называется «Синкиро», что означает «мираж». Но очертания миража можно узнать безошибочно: перед нами мерцающие врата благословенного Хорая и лунные кровли дворца Царя Драконов. Нарисованы они современным японским художником в стиле китайских мастеров, живших две тысячи с лишним лет назад...

Вот что говорится о Хораяе в китайских свитках той поры.

В Хораяе нет ни смерти, ни боли; не бывает там и зимы. Цветы в Хораяе не увядают, а плоды не падают с деревьев, и, ежели человек хоть раз вкусит тех плодов, впредь он уже не почувствует ни голода, ни жажды. В Хораяе есть невиданные растения *соринси*, и *рикугоаой*, и *банкото*, исцеляющие любые хвори. Еще там растет волшебная трава *ёсинси*, оживляющая мертвых, а питает ее вода из удивительного источника, творящего чудеса: один глоток той воды дарует вечную молодость. Народ Хораяе ест рис из крошечных чашечек, но чашечки те не пустеют, сколько бы кто ни съел. Вино же там пьют из крошечных кубков, но то вино в кубках не убывает, сколько бы кто ни выпил, и пить можно, пока не наступит блаженное опьянение.

Все это и еще много другого поведано в легендах времен династии Синь. Но едва ли сказители, сложившие легенды, видели Хорай или даже его мираж. На самом деле нет там ни вечноспелых плодов, избавляющих человека от чувства голода навсегда, ни волшебной травы, возвращающей покойников к жизни, ни источника молодости, ни крошечных чашечек, в которых не заканчивается рис, ни крошечных кубков, в которых не переводится вино... Неправда, что в Хораяе неведомы печаль и смерть. И зимы там еще как бывают. Зимы в Хораяе лютые – студеные ветра пробирают до костей, а на рогатые крыши Царя Драконов ложатся огромные снежные шапки...

Тем не менее в Хораяе множество чудес, и самое прекрасное из них не упомянуто китайскими сказителями. Я говорю о воздухе Хораяе. Такого воздуха нет больше нигде. Благодаря ему и солнечный свет в Хораяе особенный – молочно-белый, изумительно ясный, он ласков и не слепит глаза. Этот воздух существует дольше, чем само человечество, он настолько древний, что при мысли о его возрасте мне становится страшно. И являет собой он вовсе не смесь азота и кислорода. Воздух

Хорая состоит не из газов, а из призраков. Это квинтиллионы квинтиллионов поколений человеческих душ, слившихся в единую светопроницаемую субстанцию; неисчислимое множество сознаний людей, которые мыслили и жили совсем не так, как мы. Если живой человек вдохнет этот воздух, духи проникнут в его кровь, затрепещут в каждой вене и преобразят все его чувства – изменят представление о пространстве и времени так, что отныне человек начнет видеть, слышать и думать в точности как они. Волшебная метаморфоза чувств будет едва заметна, как погружение в сон, но в результате человеку откроется Хорай, и описать его он сумеет примерно так:

«Поскольку у обитателей Хорая нет понятия о великом зле, их сердца не стареют. И поскольку все люди в Хораяе молоды сердцем, они живут с улыбкой от рождения до смерти и перестают улыбаться, лишь когда боги посылают им печаль, – тогда надлежит завесить лицо покровом и ходить так, пока печаль не избудется.

Все в Хораяе любят друг друга, и каждый верит ближнему и дальнему, будто все они члены одной большой семьи. Женские голоса там подобны пению птиц, ибо сердца женщин в Хораяе легки, как птичьи души. А когда там танцуют юные девы, их рукава колышутся, словно огромные нежные крылья.

В Хораяе люди ничего не скрывают друг от друга, кроме печали, ибо нет у них причин стыдиться. И никто там не запирает жилища, ибо в Хораяе не бывает воров. Днем и ночью двери распахнуты настежь, ибо обитателям Хорая нечего бояться. И поскольку тамошние жители подобны нашим феям, хоть и остаются смертными людьми, вещи и здания в Хораяе очень малы, за исключением дворца Царя Драконов, и затейливы, и ни на что не похожи. А маленький народец, который ими пользуется, действительно ест рис из крошечных чашечек и пьет вино из крошечных кубков...

Многое, пусть и не все, из того, что происходит в Хораяе, возможно лишь благодаря тому, что его обитатели дышат призрачным воздухом. Ибо в чары, созданные духами, вплетены их мечты об идеальном мире, все их давние несбывшиеся надежды. Эти мечты и надежды находят отклик во многих сердцах и воплощаются в простой красоте жизни, лишенной эгоистических устремлений, в нежной кротости женщин...

Увы, злые ветра, поднимаясь на Западе, долетают до Хорая, и волшебный призрачный воздух рассеивается под их натиском. От него ныне остались лишь обрывки, подобные белым лоскутам облаков на пейзажах японских художников. Под клочьями зачарованного тумана еще можно найти Хорай, но не везде...

Не забывайте о том, что Хорай еще называют Синкиро, то бишь мираж – неуловимое видение. Мираж постепенно рассеется и никогда уже не появится в картинах, поэмах и снах...»

ЭТЮДЫ О НАСЕКОМЫХ



Бабочки

I

Хотелось бы мне приманить ту же удачу, что сопутствовала одному китайскому мудрецу, упомянутому в японских источниках под именем Росан! Ибо сего мудреца возлюбили две бессмертные девы, призрачные сестры, и, каждые десять дней наведываясь в гости, рассказывали ему истории о бабочках. Есть восхитительные китайские легенды о бабочках – истинные кайданы. Как же я мечтаю ознакомиться с ними во всех подробностях!.. Но мне ни за что не выучиться читать по-китайски, а японский язык тут не может служить подспорьем – в той малой толике японской поэзии, что мне удалось с невероятным трудом перевести, бездна аллюзий на китайские сказания о бабочках, и невозможность их разгадать приносит мне танталовы муки... Увы, едва ли сыщется бессмертная дева, коей взбредет в голову обратить внимание на такого скептика, как ваш покорный слуга.



たす
たに

たす
たに

ほ
と
や
は

た
す
た
に

た
す
た
に

А мне между тем любопытно узнать, к примеру, доподлинную историю одной китайки. Бабочки принимали ее за цветок и порхали вокруг бесчисленными стайками, ибо девушка источала волшебное благоухание и была сказочно прекрасна. Еще мне хотелось бы выяснить подробности о бабочках императора Гэнсо, или Мин Хуана, которые выбирали для него возлюбленных. Он устраивал пиры в роскошном дворцовом саду и приглашал на них прекраснейших женщин. Слуги выпускали из клеток бабочек, и те устремлялись к самой обворожительной – ей император Гэнсо и дарил свою благосклонность. Но однажды, увидев в саду среди других прелестниц Ёкихи (в Китае ее называют Ян Гуйфэй), он не позволил бабочкам сделать выбор. И напрасно – эта красавица в дальнейшем принесла ему немалые беды.

Кроме того, я мечтаю выяснить подробности об опыте китайского мудреца, который прославился в Японии под именем Сёсю. Ему приснилось, что он – бабочка, и все его чувства были чувствами бабочки в том сне, ибо душа мыслителя отправилась в странствие, обретя облик этого насекомого. А когда Сёсю пробудился, все, что он испытал, перевоплотившись в бабочку, все ощущения из того сна были столь животрепещущи и ярки в памяти, что он уже не мог мыслить и действовать как человек.

И наконец, мне хотелось бы ознакомиться с одним китайским официальным документом, в коем разные виды бабочек признаются духами императора и его приближенных...

Большинство японских текстов о бабочках, за исключением поэтических, судя по всему, являют собой переводы китайских источников, и, возможно, даже эстетическая склонность к этим насекомым, присущая японцам с древних времен и нашедшая выражение в японском изобразительном искусстве, песнях и обычаях, тоже сформировалась под влиянием китайцев.

Китайская традиция прослеживается и в том, что японские поэты и художники часто выбирали в качестве *гэймё* – творческих псевдонимов – такие имена, как Тёму («бабочка-сон»), Итё («одинокая бабочка») и т. п. А в наши дни у японских танцовщиц пользуются

успехом прозвища Тёхана («бабочка-цветок»), Тёкити («бабочка-удача»), Тёноскэ («помощь бабочки»).

Помимо псевдонимов, включающих в себя иероглиф «бабочка», у японцев до сих пор в ходу и личные имена Котё и Тё. Как правило, их носят женщины, хотя бывают и странные исключения... Здесь также необходимо упомянуть, что в провинции Муцу и ныне жив примечательный древний обычай называть младшую дочь в семье Тэкона; это старомодное слово, давно вышедшее из обихода в других областях Японии, на диалекте провинции Муцу означает «бабочка». Во времена же классической японской литературы у него было еще одно значение – «прекрасная женщина»...

Не исключено, что и некоторые весьма необычные японские суеверия, связанные с бабочками, тоже пришли из Китая. Возможно, они даже старше самой Поднебесной. Самое любопытное из них, на мой взгляд, состоит в том, что, по мнению японцев, душа живого человека может путешествовать, приняв облик бабочки. Отсюда берут свое начало и любопытные народные приметы: скажем, если бабочка влетит в вашу гостиную и сядет на бамбуковую ширму, значит, скоро к вам в гости заглянет любимый человек.

Тот факт, что любая бабочка может оказаться чьей-нибудь душой, не должен вызывать страха. Однако порой бабочки наводили на японцев ужас, появляясь в несметном количестве, – такие случаи зафиксированы в исторических хрониках. Когда Тайра-но Масакадо тайне готовил бунт против императора, в Киото случилось небывалое нашествие бабочек – горожане перепугались, приняв это за предвестие грядущей беды. Возможно, люди решили, что это души мятежников, которым суждено погибнуть в битве, растревожились накануне восстания от мистического предчувствия смерти.

По представлениям японцев, бабочка может воплощать собой душу не только живого человека, но и мертвого. Кроме того, у душ заведено принимать облик бабочки, чтобы возвестить о своем скором расставании с телом навсегда. Так или иначе, в Японии надлежит относиться с почтением к любой бабочке, залетевшей в дом.

Легенды и приметы, связанные с бабочками, часто присутствуют и в пьесах традиционного японского театра, к примеру, в очень популярном произведении «Тондэ-дэру Котё-но кандзаси» – «Летающая шпилька для волос, принадлежавшая Котё». Имя Котё

носила прекрасная девушка, покончившая с собой из-за коварных наветов и жестокого обращения. Человек, поклявшийся за нее отомстить, долгое время искал клеветника, погубившего его возлюбленную, но так и не нашел. Тогда шпилька для волос, принадлежавшая мертвой девушке, превратилась в бабочку и привела мстителя к тому месту, где прятался злодей.

Что же касается огромных бумажных бабочек (*о-тё* и *мэ-тё*) – традиционных атрибутов японской свадьбы, – не стоит думать, что они имеют какое-то сверхъестественное значение. Это всего лишь символы счастливого брачного союза, воплощение надежды на то, что жизнь новобрачных окажется подобной цветущему саду, в котором они будут порхать вместе, как две бабочки, то устремляясь вниз, то поднимаясь к небу, но никогда не разлучаясь надолго.

II

Небольшая подборка хокку о бабочках послужит прекрасным примером интереса японцев к эстетическому аспекту этой темы. Одни трехстишия – всего лишь зарисовки с натуры, эскизы, состоящие из нескольких точных штрихов, вернее, из семнадцати слогов. Другие – плоды воображения, изящные метафоры, сплетения намеков. В любом случае читателю обеспечено разнообразие. Возможно, сами по себе эти вирши кого-то оставят равнодушным. Но вкус к японской поэзии приобретается не в одночасье, и оценить все ее достоинства, всю сложность и красоту композиций можно лишь в ходе долгого их изучения. Некоторые критики скоропалительно заявляют, что искать смысл в стихах, состоящих из семнадцати слогов, «было бы абсурдно». А как же знаменитая строчка Крашоу^[43] о первом чуде, явленном на брачном пире в Кане?^[44] «*Nympha pudica Deum vidit, et erubuit*»^[45]. Всего четырнадцать слогов – и бессмертная слава. Вот и японцы управляют со своими семнадцатью слогами не менее, а возможно, и более искусно; они не раз и не два – быть может, тысячи раз – достигали в этом деле высот мастерства. Однако в приведенных ниже хокку нет ничего особенно примечательного, поскольку они выбраны вовсе не за поэтическое совершенство.

Нуги-какэру
Хаори сугата-но
Котё кана.

«Скользнувшее с плеч хаори. Очертания бабочки».

«Нуги-какэру» означает «снять [одежду] и повесить», а также «начать снимать [одежду]». Более точно смысл стихотворения можно передать так: «Бабочка обликом напоминает женщину, снимающую хаори». Чтобы оценить образность этого хокку, нужно представлять себе, как выглядит хаори. Это шелковая накидка, похожая на плащ с широкими рукавами, ее носят и мужчины, и женщины. Но в стихотворении определено женское хаори – более пестрое, чем у мужчин, богато украшенное, из дорогой ткани. Подкладку хаори обычно делают из шелка одного или нескольких ярких цветов. Когда хаори снимают, подкладка становится видна во всем своем великолепии – буйство красок и колыхание рукавов действительно вызывают в памяти образ летящей бабочки.

Торисаси-но
Сао-но дзяма суру,
Котё кана.

«В силке птицелова стремится без усталости бабочка».

Птицеловы смазывают силки птичьим клеем. В стихотворении намекается на то, что бабочка пытается помешать человеку в охоте на пернатых, которые непременно насторожатся, увидев, чем испачканы ее крылышки.

Цуриганэ-ни
Томаритэ нэмуру

Котё кана.

«На колоколе в храме бабочка сладко уснула».

Нэру-ути мо
Асобу-юмэ-о я —
Куса-но тё.

«Даже во сне веселые игры видит бабочка травяная».

Когда бабочки спят, у них иногда подрагивают крылья – как будто бабочкам снится, что они летают.

Оки, оки ё!
Вага томо-ни сэн,
Нэру-котё.

«Проснись, проснись! Другом мне стань, спящая бабочка».

Это стихотворение Басё, величайшего из сочинителей хокку. В трехстишии выражено предчувствие пробуждения весны.

Каго-но тори
Тё-о ураяму
Мэцуки кана.

«Птица в клетке. Печаль в глазах и зависть – к бабочке».

Тё тондэ —
Кадзэ наки хи то мо,

Миэдзари ки.

«Трепетание крыльев бабочки. А день почему-то безветренный».

Ракука эда-ни
Каэру то мирэба —
Котё кана

«Опавший лист обратно на ветку вспорхнул. Нет! Всего лишь бабочка».

Аллюзия на буддийскую поговорку *ракука эда-ни каэрадзу, хакё футатаби тэрасадзу* – «опавший лист не вернешь на ветку, разбитое зеркало не склеишь».

Тиру хана-ни
Каруса арасоу
Котё кана.

«Состязанье затеяла бабочка с облетающими цветами – кто легче?»

Возможно, образ навеян кружащимися в воздухе лепестками вишни-сакуры.

Тётё я!
Онна-но мити-но
Ато я саки.

«Женщина идет своей дорогой, а бабочка то обгонит ее, то за спиной кружится».

Тётё я!
Хана-нусубито-о
Цукэтэ-юку.

«Бабочка летит за цветами, не заботясь, что вор их уносит».

Аки-но тё
Томо накэрэба я;
Хито-ни цуку.

«Осенняя бабочка. Бедняжка! Оставшись без товарок по играм, за человеком следует».

Оварэтэ мо,
Исогану фури-но
Тётё кана!

«Бабочка! Даже погоня не заставит ее суетиться».

Тё ва мина
Дзю-сити-хати-но
Сугата кана.

«Всем бабочкам на глазок лет семнадцать – восемнадцать, не больше».

Автор трехстишия уподобил бабочек грациозным юным девам в изысканных нарядах с длинными развевающимися рукавами... В Древней Японии, если верить поговорке, считалось, что даже демоны в юности не так уж страшны: *они мо дзюхати адзами-но хана* – «в восемнадцать и сам черт не черт, а цветочек чертополоха».

Тё тобу я,
Коно ё-но урами
Наки ёни.

«Бабочки так резвятся, будто в мире нет ни зависти, ни вражды».

Тё тобу я,
Коно ё-ни нодзоми
Най ёни.

«Бабочки так резвятся, будто все их чаяния уже сбылись в этом мире».

Нами-но хана-ни
Томари канэтару,
Котё кана.

«Белопенные цветы на волнах распустились, увы, не для бабочек».

Муцумаси я!
Умарэ-каварэба
Нобэ-но тё.

«Когда в подлунный мир мы бабочками вернемся, возможно, будем счастливы вместе».

По всей видимости, смысл трехстишия таков: «Счастье, говоришь? Ну да, если в следующей жизни мы оба родимся бабочками, тогда, быть может, нам и удастся поладить». Это хокку написал знаменитый поэт Исса по случаю развода с женой.

Надэсико-ни
Тётё сириси
Тарэ-но кон?

«На розовом цветке белая бабочка. Гадаю, чья душа присела отдохнуть».

Китэ ва мау,
Футари сидзука-но
Котё кана.

«Танцуют они, устремляясь друг к другу, но, сойдясь, замирают. Пара бабочек!»

Тё-о оу
Кокоро мотитаси
Ицумадэмо!

«Да не угаснет в сердце страсть к охоте на бабочек!»

Смысл трехстишия в вольном пересказе таков: «Я хотел бы всегда находить удовольствие в самых простых вещах, как счастливый ребенок».

В дополнение к вышеприведенным хокку о бабочках предлагаю читателю прелюбопытный образчик японской прозы, тоже имеющий к ним некоторое отношение. Подлинник, с коего мне удалось сделать лишь весьма приблизительный перевод, можно найти в одной занятой старинной книге под названием «Муси-исамэ» – «Наставления насекомым». Текст построен в форме монолога, обращенного к бабочке, но бабочка в нем – всего лишь дидактическая аллегория, позволившая автору изложить свои размышления о нравственном аспекте взлетов и падений человека в обществе.

«Ныне, под весенним солнцем, ласковы ветра, и нежно розовеют лепестки цветов, и травы стелятся мягким покровом, и радость в сердцах людских. Повсюду весело порхают бабочки, и многие поэты поддаются искушению сложить о них вирши китайские и японские.

Наставшее время года, о бабочка, воистину пора твоего ослепительного расцвета – ты до того хороша сейчас, что никому в целом мире с тобой не сравниться. Потому-то прочие насекомые, глядя на тебя, восхищаются и завидуют – все завидуют, ни одна букашка удержаться не в силах. Но не только насекомые завидуют и восхищаются – людей при твоём появлении охватывают те же чувства. Сёсю из Поднебесной принимал твой облик во сне. Сакоку из Страны восходящего солнца обратился в тебя после смерти, и дух его в образе бабочки являлся многим живущим. Зависть и восхищение ты внушаешь насекомым и людям, а порой и то, в чем нет души, норовит тобой обернуться: причуды ячень-травы, что превращается в бабочек, тому свидетельство^[46].

И оттого ты, преисполнившись гордости, думаешь: «В подлунном мире никому меня не превзойти!» Могу догадаться, что происходит в твоей голове: тебя распирает от самодовольства. По сей причине ты подчиняешься любому льстивому порыву ветра, никогда не находишь покоя и постоянно твердишь себе: «В целом мире нет такой счастливицы, как я!»

А теперь задумайся на мгновение о собственной жизни. Это будет полезно, ибо есть в твоей истории неприглядная сторона. Как так – неприглядная? А вот так. После рождения долгое время у тебя не было

ни единого повода радоваться своему облику. Ты была всего лишь гусеницей, пожирательницей капусты, волосатым червяком и жила в такой нищете, что нечем было тебе укрыться от ненастья. И выглядела ты омерзительно. Никому не нравилось на тебя смотреть. Разумеется, у тебя имелись все основания стыдиться самой себя, и до того тебе было стыдно, что ты кинулась собирать сухие веточки и прочий лесной мусор, свила из них убежище, подвесила к ветке и спряталась в нем. Тогда люди стали кричать тебе: «Миномуси!»^[47] И тяжки были твои злодеяния в те дни. В нежной изумрудной листве прекрасных вишен скрывалась ты со своими товарками, и взыскующие красоты взоры людей, приходивших издалека полюбоваться дивными деревьями, то и дело выхватывали ваши уродливые очертания, и люди ужасались. Но что отвратительнее всего, ты намеренно творила зло. Ты знала, как тяжело выращивать *дайкон*^[48] бедным крестьянам, знала, как они гнут спину в поле под палящим солнцем, как наполняются горечью их сердца от забот о дайконе, но подговорила своих товарок напасть на посевы несчастных земледельцев, на дайкон и прочие растения. Ваше прожорливое полчище уничтожило листья, изуродовало то, что не смогло сожрать, и никому из вас не было дела до разоренных тружеников... Да-да, таковы были дни твои и таковы деяния.

Теперь же, когда ты так хороша собой, глядишь на прежних товарок, других насекомых, с презрением, а ежели случается тебе встретить кого-нибудь из них, делаешь вид, будто вы незнакомы. Ныне тебе подавай в друзья богатых да высокородных. Позабыла минувшие времена, ведь правда?

Да и многие люди уж не помнят о твоём прошлом, и зачарованно любят изящной формой твоих белых крылышек, и слагают вирши китайские и японские о тебе. Знатные барышни, прежде и взглянуть-то на тебя брезговавшие, теперь взирают с обожанием и, норвя наколоть тебя на шпильку для волос, приманивают изысканным веером в надежде, что ты на него присядешь. Однако это напомнило мне одну старинную китайскую легенду о тебе, и нет в той легенде ничего героического.

Во времена правления императора Гэнсо дворец был населен сотнями и тысячами прекрасных женщин – воистину их было так много, что ни один мужчина не сумел бы выбрать среди них самую

обворожительную. Тогда государь велел собрать всех прелестниц в саду и выпустил к ним тебя, постановив, что красавица, на чью шпильку для волос ты присядешь, будет высочайшей милостью приглашена в императорскую опочивальню. В ту пору действовал праведный закон, согласно коему у нашей державы могла быть лишь одна государыня. Но из-за тебя император Гэнсо совершил величайшую ошибку. Ум твой слаб и беспечен, потому в сонме прекрасных дам, среди коих непременно нашлись бы добродетельные особы с чистым сердцем, ты выбрала ту, что была всех прекраснее обликом, а не душой. И многие дамы после этого отвратились от мыслей об истинном пути женщины и начали думать лишь о том, как бы предстать привлекательными в глазах мужчин. А в довершение всего император Гэнсо принял злосчастную мучительную смерть – и все из-за твоего легкомысленного поступка.

Впрочем, о подлинной натуре бабочки нетрудно судить и по другим твоим решениям. К примеру, есть деревья – такие, как вечнозеленые дубы или сосны, – которые никогда не сбрасывают листву и в любое время года выглядят молодо; у деревьев этих стальное сердце и серьезный нрав. Но ты называешь их чопорными и скучными, даже не глядишь в их сторону, не навещаешь. Тебя влекут вишни, и *кайдо*^[49], и пионы, и желтые розы, ты восхищаешься их пышным, ярким цветением, и мысли твои лишь о том, как бы им понравиться. Такое поведение, смею тебя заверить, весьма недостойно. Без сомнений, цветы у них красивые, однако плодами их не утолишь голод, и благосклонны они лишь к тем, кто купается в роскоши и выставляет ее напоказ. Потому и встречаются они снисходительно мельтешение твоих прелестных крылышек, потому и любезны с тобой.

Сейчас, весной, беспечно танцуя в изобильных зеленю садах и весело порхая по восхитительным аллеям вишневых деревьев в цвету, ты говоришь себе: «Никому в целом свете жизнь не приносит столько удовольствий, ни у кого нет таких прекрасных друзей. И что бы там люди ни болтали обо мне, больше всего я люблю пионы. И золотисто-желтая роза – моя отрада, я готова исполнить любую ее прихоть, и любой знак внимания с ее стороны для меня гордость и счастье...» Но пора цветения коротка – очень скоро роскошные лепестки увянут и опадут, в дни летней жары останутся лишь зеленые листья, а потом задуют осенние ветра, и листья дождем хлынут на землю, *парари-*

парари^[50]... И ты будешь столь же несчастна, как тот человек, про кого говорится в известной пословице: *таноми ки-но сита-ни амэ фуру* – «даже крона дерева, под коим я укрываюсь от дождя, пропускает воду». Тогда тебе придется искать помощи у старых друзей – гусениц и личинок, умолять их принять тебя обратно в прежнее убежище. Но ведь теперь у тебя есть крылья, их не вместит ни один кокон, и ты поймешь, что отныне тебе нигде не укрыться между небом и землей. А сочные травы между тем высохнут, и ни росинки не останется, чтобы ты могла утолить жажду. Некуда тебе будет деваться, бедняжке, – останется только лечь и умереть. И все из-за твоего праздного ума и беззаботного сердца... Ах, до чего печальная участь!»

III

Большинство японских сказаний о бабочках, как я уже говорил, заимствованы из китайских источников. Но я знаю одну историю, которая, по всей вероятности, родилась на островах. И на мой взгляд, ее непременно нужно рассказать – хотя бы для того, чтобы удивить людей, воображающих себе, будто на Дальнем Востоке не существует «романтической любви».

Давным-давно в столичном предместье, за кладбищем у храма Содзандзи, стоял на отшибе дом, в котором жил один старик по фамилии Такахама. Народ в окрестностях относился к нему по-доброму, потому что со всеми Такахама был любезен. Но при этом никто не сомневался, что он малость не в себе. Ведь когда человек принимает буддийский обет, он тем самым обязуется жениться и вырастить детишек. Однако Такахама не проявлял религиозного рвения, и никому не удалось убедить его обзавестись семьей. Более того, соседи ни разу не слышали, чтобы Такахама завел любовную интрижку или что-то в этом роде. Пятьдесят с лишним лет он жил в полном одиночестве.

Как-то летом старик почувствовал себя плохо и понял, что недолго ему осталось. Он тотчас послал за овдовевшей невесткой и ее единственным сыном двадцати лет, к которым питал нежную

привязанность. Родственники немедленно приехали и сделали все возможное, чтобы скрасить старику последние дни.

Погода стояла знойная, и однажды после обеда, когда вдова и ее сын сидели у постели Такахамы, тот задремал. В сей же миг в комнату влетела большая белая бабочка и села на подушку умирающего. Племянник смахнул бабочку веером, но та снова вернулась на подушку, и так повторилось несколько раз. Тогда молодой человек погнал ее в сад и дальше, к открытой калитке, за которой начиналось кладбище при буддийском храме. Уже оказавшись среди могил, бабочка никак не хотела улетать, все порхала вокруг юноши и вела себя так странно, что он с опаской задумался, а бабочка ли это в самом деле или ма^[51].

Он снова взмахнул веером и последовал за бабочкой между погребальных памятников. Возле одного из камней она замедлила полет – и вдруг исчезла. Молодой человек огляделся, но бабочка словно растворилась в воздухе. Тогда он взглянул на камень – на нем были выбиты женское имя Акико, незнакомая фамилия и надпись о том, что барышня умерла в возрасте восемнадцати лет. Камень казался очень старым – его поставили не меньше полувека назад, судя по тому, что он уже оброс мхом. Но за могилой кто-то заботливо ухаживал: здесь были свежие цветы и вода.

Когда молодой человек вернулся в дом, мать с прискорбием сообщила ему, что дядя умер – тихо и безболезненно, во сне. На лице старика застыла безмятежная улыбка.

Юноша тотчас рассказал матери обо всем, что видел на кладбище.

– Ах! – воскликнула она. – Значит, это была Акико!..

– Кто такая Акико, матушка?

Вдова вздохнула:

– В молодости твой дядя обручился с прелестной девушкой по имени Акико, дочерью соседа. Всего за несколько дней до свадьбы она умерла от чахотки, и нареченный жених места себе не находил от горя. На похоронах Акико он дал обет никогда не жениться и построил дом рядом с кладбищем, чтобы всегда оставаться подле ее могилы. Это было больше пятидесяти лет назад. И все пятьдесят с лишним лет, каждый день, зимой и летом, твой дядя приходил к ее погребальному камню, молился, ухаживал за могилой и оставлял поминальные дары. Но он ни разу никому о том не рассказывал и не любил, когда с ним

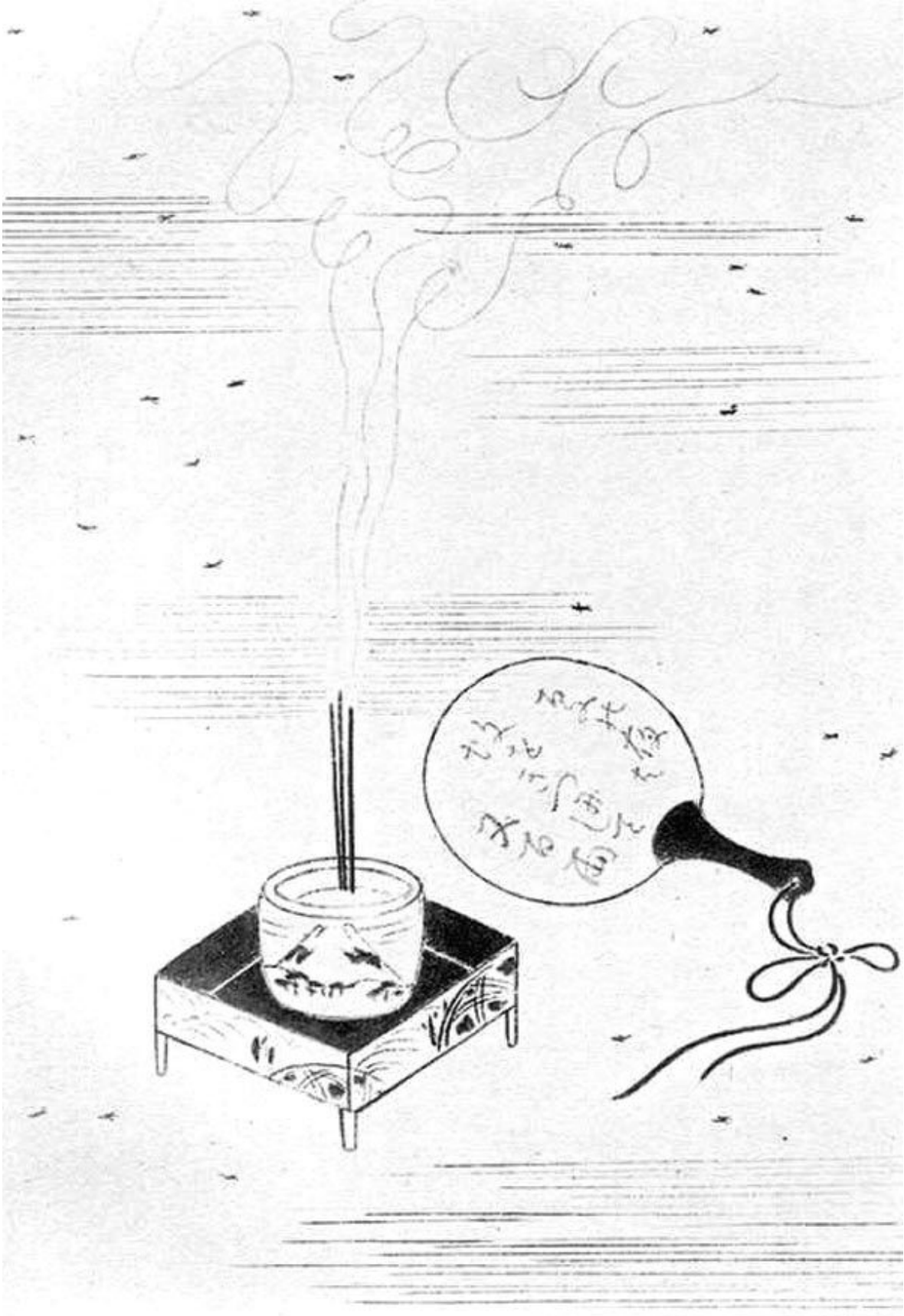
заговаривали об Акико... Так, стало быть, Акико все же вернулась к нему... Белая бабочка – это ведь была ее душа...

IV

Осталось еще упомянуть о старинном японском танце под названием *котё-мати* – «танец бабочки». Он исполнялся в императорском дворце артистами в соответствующих костюмах (не знаю, поддерживается ли эта традиция в нынешние времена). Говорят, научиться ему не так-то просто. Для надлежащего исполнения требуются шесть участников, и двигаться им надлежит слаженно, создавая строгий рисунок танца, – каждый шаг, каждая поза, каждый жест должны в точности соответствовать издревле установленным правилам. Выполняя заданные движения, танцоры медленно кружатся, огибая друг друга, под звуки малых и больших барабанов, свирелей и панфлейт^[52], кои никогда не доводилось видеть Пану.

Комары

С целью приобретения навыков самообороны я прочитал трактат доктора Говарда «Комары». Комары меня преследуют. В окрестностях их небывалое множество самых разных видов. Но представители лишь одного из них причиняют мне невыносимые страдания – малюсенькие носатые твари, все в серебристых крапинках и полосках. Укус этих комаров обжигает, как электрический разряд, и мало-помалу их жужжание обрело для меня нервирующие нотки сигнала тревоги, который предупреждает о неотвратимо грядущей боли, – так определенный запах предвещает определенный вкус. Я пришел к выводу, что эти изверги очень похожи на комаров, описанных доктором Говардом под латинским названием *Stegomyia fasciata*, или *Culex fasciatus*, и что привычки их характерны для всего рода *Stegomyia*. К примеру, это скорее дневные насекомые, нежели ночные, а больше всего неприятностей от них следует ждать после полудня. Еще мне удалось установить, что прилетают они с буддийского кладбища – очень древнего места захоронения – позади моего сада.



Доктор Говард утверждает, что от комаров легко избавиться: достаточно раз в неделю выливать в стоячую воду, где они размножаются, немного керосина, а именно «в необходимом количестве из расчета 1 унция на 15 квадратных футов водной поверхности и в соответствующей пропорции для меньшей площади». Однако позвольте изложить вам дополнительные условия задачи, стоящей конкретно передо мной.

Как я уже сказал, мои мучители обитают на буддийском кладбище. Там у каждой могилы есть *мидзутамэ* – емкость для воды. В большинстве случаев *мидзутамэ* являет собой прямоугольное углубление в широкой плите, на которой стоит погребальный камень. На могилах богачей устанавливают отдельные *мидзутамэ*, выдолбленные из цельного камня и украшенные родовым гербом или священными символами. А перед захоронениями людей низшего сословия, не имеющих постамента под памятником, воду оставляют в чашах или в другой посуде. Ибо у мертвых всегда должна быть вода. Им также приносят цветы, и на каждой гробнице можно найти пару бамбуковых кадок или цветочных горшков; в них, разумеется, тоже скапливается влага. На кладбище есть еще и колодец для снабжения водой его территории. Всякий раз, когда места погребения посещают друзья и родственники покойных, свежая вода льется во все емкости. Но это очень древнее кладбище, здесь тысячи *мидзутамэ* и десятки тысяч цветочных кадок и горшков. Вода не может обновляться в них каждый день – она застаивается и превращается в приют для насекомых. Самые глубокие *мидзутамэ* почти никогда не пересыхают – дожди в Токио обильны, девять месяцев в году они обеспечивают емкости жидкостью если не до краев, то частично.

Так вот, именно *мидзутамэ* и цветочные кладбищенские горшки – родина моих злейших врагов. Они миллионами восстают из воды, предназначенной мертвецам, и, по воззрениям буддистов, некоторые комары могут оказаться реинкарнациями душ погребенных здесь людей, каковые из-за ошибок, совершенных в прежних рожденьях, обречены на существование в облике *дзикикэцу-гаки* – духов-кровопийц... Как бы то ни было, злобность *Culex fasciatus* оправдывает подозрения в том, что какую-нибудь гнусную

человеческую душонку высшие силы могли упаковать в тельце зудящей букашки...

А теперь вернемся к керосину. Комаров в отдельно взятой местности действительно можно вывести, залив этим маслянистым веществом поверхность всех стоячих вод, в которых они плодятся. Личинки умрут, всплыв глотнуть кислорода, а взрослые самки погибнут, когда опустятся на затянутую пленкой воду, чтобы отложить яйца. Еще я прочитал у доктора Говарда, что полное освобождение от комаров одного американского городка с населением пятьдесят тысяч человек обошлось его жителям всего в триста долларов...

Любопытно, как бы отнеслась общественность к решению Токийского муниципалитета (а он, надо сказать, почитает себя адептом научного прогресса и напористо продвигает всяческие новшества) заливать керосином через равномерные промежутки времени все водные поверхности на всех буддийских кладбищах. Как восприняли бы это распоряжение буддисты, которым религия запрещает лишать жизни любое существо, даже незримое? Возникло бы у них хоть малейшее искушение повиноваться из почтительности к власти? И чем бы это предприятие обернулось для токийцев – сколько труда и времени потребовалось бы на то, чтобы раз в неделю заливать керосин в миллионы мидзутамэ и десятки миллионов бамбуковых кадок для цветов на кладбищах Токио? Невыполнимая задача! Чтобы спасти город от комаров, понадобится уничтожить все древние места погребения, а это повлечет за собой упадок буддийских храмов при них и неизбежное исчезновение множества очаровательных садов с прудами, заросшими лотосами, с древними камнями, хранящими надписи на санскрите, с горбатыми мостиками, священными гробницами и загадочно улыбающимися буддами! В итоге вместе с *Culex fasciatus* исчезнет вся поэзия древней веры. Определенно, цена избавления от комаров будет слишком высока!

К тому же я и сам предпочел бы, когда придет мой час, упокоиться на каком-нибудь древнем буддийском кладбище, где призрачную компанию мне составят те, кому неведомы нововведения, перемены и распри эпохи Мэйдзи^[53]. Старинное кладбище позади своего сада я нахожу вполне подходящим местечком. Там потрясающе красиво, хотя в красоте этой есть что-то совершенно чуждое нашему миру: каждое дерево, каждый камень соответствуют идеалу, появившемуся во

времена столь незапамятные, что в сознании современного человека не сохранилось о нем ни малейшего представления. Даже тени здесь не принадлежат этому веку и созданы не этим солнцем – они простираются из забытого мира, не знавшего паровых двигателей, электричества, магнетизма и... керосина! А в звоне большого колокола мне чудится отзвук запредельного, будящий в душе чувства, странным образом не свойственные мне, человеку XIX столетия, и оттого пугающие так, что замирает сердце – сладко замирает... Никогда прежде не слышал я этого дивного, постепенно набирающего силу звона, но дух мой вдруг откликнулся, затрепетал, заметался, словно древнейшие воспоминания устремились к свету из самых глубин сознания, сквозь тьму миллионов и миллионов прошлых рождений и смертей. Надеюсь, хотя бы память об этом звоне останется со мной навсегда... А размышляя над возможностью возродиться в обличье дзикикэцу-гаки, скажу, что я, пожалуй, не против снова прийти в этот мир в какой-нибудь бамбуковой кадке для цветов или в мидзутамэ. Тихо выпорхну оттуда, напевая звенящую воинственную песню, и отправлюсь полакомиться кровушкой некоторых моих знакомцев.

Муравьи

I

После отбушевавшего ночью шторма утреннее небо слепит глаза чистой, прозрачной синевой. Ураган разломал и разбросал повсюду сосновые ветки – теперь воздух, пропитанный ароматом смолы, восхитительно сладок. В бамбуковой роще по соседству птица голосом, подобным звучанию свирели, напевает «Сутру лотоса», а вокруг царит затишье, едва нарушаемое южным ветерком. Лето, заблудившееся в пути, наконец-то с нами – японские бабочки самых причудливых расцветок вьются над травами, звенят цикады, гудят на разные лады осы, комары пляшут на солнцепеке, а муравьи заняты делом – трудолюбиво восстанавливают разоренные стихией жилища. Вспоминается японское трехстишие:

Юки э наки:
Ари-но суми я!
Го-гэцу амэ.

«Негде голову преклонить беднягам!.. Дождь пятой луны затопил муравейник».

Однако большим черным муравьям в моем саду, похоже, сочувствие не требуется. Они каким-то образом ухитрились без потерь пережить тайфун, который ночью выворачивал с корнями огромные деревья, разносил в щепы дома и стирал дороги с лица земли. При этом перед началом ненастья, насколько я заметил, муравьи не приняли никаких особых мер безопасности – разве что закрыли ворота своего подземного города. И теперь, глядя на плоды титанического труда многих муравьиных поколений, я почитаю долгом и почетной обязанностью написать о муравьях эссе.



Предварить изложение результатов научных изысканий мне хотелось бы каким-нибудь древним японским сказанием, преисполненным поэтического или метафизического смысла. Но все, что моим друзьям-японцам удалось найти для меня на эту тему – за исключением довольно посредственных хокку, – заимствовано опять-таки из китайских источников. Среди этих историй из Поднебесной есть одна заслуживающая, на мой взгляд, внимания и пересказа – *faute de mieux*^[54].

В Китае, в провинции Тайсю, жил благочестивый человек, на протяжении многих лет каждый день истово возносивший хвалу некой богине. Однажды утром, когда он в очередной раз совершал обряды, в его комнате таинственным образом появилась прямо перед ним прекрасная женщина в желтых одеждах. С превеликим изумлением человек спросил, что ей нужно и почему она вошла без стука.

– Перед тобой не женщина, – сказала она. – Я богиня, та, кого ты столь давно и усерд но славишь в своих молитвах. Твоя преданность не останется без награды: я явилась сюда для того, чтобы воздать должное своему почитателю... Знаком ли тебе язык муравьев?

Человек низко поклонился:

– Я простолюдин и невежда – куда мне тягаться с учеными, даже речь благородного сословия мне непонятна...

Услышав это, богиня улыбнулась и достала из-за пазухи маленькую шкатулку, похожую на те, что предназначены для хранения благовоний. Она открыла шкатулку, зачерпнула оттуда немного вязкого вещества и смазала своему поклоннику уши.

– А теперь иди искать муравьев, – велела она. – Как только найдешь, наклонись к ним пониже и внимательно слушай, о чем они будут толковать между собой. Ты поймешь каждое их слово и непременно услышишь что-нибудь полезное для себя... Только учти: не смей пугать муравьев или проявлять к ним непочтительность.

С этими словами богиня исчезла.

Человек тотчас поспешил во двор выполнять наказ. Едва он переступил порог, ему на глаза попались два муравьишки возле камня, подпиравшего опору веранды. Человек присел на корточки рядом с

ними, прислушался и, к своему удивлению, обнаружил, что слышит их беседу и понимает, о чем идет речь.

– Надо поискать местечко потеплее, – сказал один муравей.

– Зачем это? – проворчал другой. – А здесь что не так?

– А здесь чем глубже мы копаем, тем холоднее земля и от сырости спасу нет. Все потому, что у этого камня зарыто сокровище и солнечные лучи из-за него не могут прогреть почву.

Продолжая разговор, муравьи отправились по своим делам, а человек побежал за лопатой.

Начав копать возле опоры веранды, он вскоре нашел несколько больших глиняных кувшинов, набитых золотыми монетами. Так, благодаря негаданному сокровищу, бедняк превратился в богача.

Впоследствии он еще не раз пытался подслушивать беседы муравьев, но уже не мог разобрать ни слова. Чудесная мазь богини лишь на один-единственный день наделила его даром понимать таинственный язык насекомых.

Теперь я, как и тот китайский почитатель богини, должен расписаться в своем величайшем невежестве, ибо муравьиное наречие мне тоже незнакомо. Однако же фея всех наук имеет обыкновение касаться моих глаз и ушей волшебной палочкой, и тогда я на короткое время обретаю способность слышать и видеть то, что другим недоступно.

II

Некоторые полагают, что грешно рассуждать о возможности существования нехристианской цивилизации, превосходящей нашу в этическом плане. По сходной причине некоторым не понравится и то, что я намерен сейчас поведать о муравьях. К счастью, есть люди, дерзающие изучать насекомых и человеческие сообщества безотносительно к христианскому догмату, и я могу лишь мечтать сравниться с ними в мудрости. К примеру, меня весьма воодушевляет новая кембриджская «Естественная история», где, помимо прочего, есть такие слова профессора Дэвида Шарпа о муравьях: «В ходе

наблюдений за жизнью этих насекомых был выявлен чрезвычайно любопытный феномен. И здесь нам едва ли удастся избежать очевидного умозаключения: в искусстве совместного существования муравьи по многим параметрам приблизились к совершенству быстрее, чем наш собственный вид; они обогнали нас и в развитии некоторых других искусств, а также производственных методов, значительно облегчающих жизнь общества».

Я думаю, мало кому из образованных людей придет в голову оспорить это заявление специалиста. Современные ученые, выбравшие предметом своих исследований муравьев или пчел, не склонны поддаваться эмоциям, но они без колебаний признают, что на пути социальной эволюции эти насекомые изрядно опередили человека. Герберт Спенсер, которого никто не заподозрит в излишней восторженности восприятия, идет дальше профессора Шарпа, показывая нам, что в плане этики и хозяйственного уклада человек безнадежно отстает от муравьев, ибо жизнь каждого из этих крошечных трудяг преисполнена альтруизма.

Профессор Шарп без особой необходимости добавляет к хвалебному слову муравьям осторожное пояснение: «Норма поведения муравья отличается от нормы поведения человека. Муравей обязан заботиться о процветании всего вида, а не о собственном развитии, то есть, по сути, он жертвует индивидуальностью или частично отказывается от нее ради всеобщей пользы».

Подтекст очевиден: любой общественный уклад, при котором совершенствование отдельной личности приносится в жертву общественной выгоде, оставляет желать лучшего – и, возможно, это вполне логично с точки зрения современного общества, ибо человек еще не достиг высшей ступени развития и человечество лишь выиграет от дальнейшей индивидуализации. Однако подобная критика в адрес социальных насекомых не вполне уместна. «Цель развития личности, – говорит Герберт Спенсер, – состоит в том, чтобы индивид как можно эффективнее участвовал в социальном взаимодействии, способствуя процветанию общества и тем самым сохранению вида». Другими словами, эволюция каждой особи тесно связана со всем социумом, соответственно, отказ от личного блага в пользу общественного можно признать добром или злом, в зависимости от того, что приобретет или потеряет социум от индивидуализации или

же, наоборот, подавления личности. Как мы увидим в дальнейшем, этический аспект муравьиного образа жизни заслуживает пристального внимания. И тут человек уже не имеет права на критику этих насекомых, поскольку они достигли идеала нравственной эволюции, описанного мистером Спенсером как «состояние общества, в котором эгоистические и альтруистические устремления находятся в таком согласии, что между ними исчезает разница». То есть представителям идеального социума величайшее удовольствие приносит бескорыстная деятельность. Кроме того, муравьиное общество (еще одна цитата из мистера Спенсера) «ставит всеобщее благополучие настолько выше личного, что забота о жизни индивида проявляется лишь для того, чтобы он мог продолжать участвовать в жизни социума... индивид, таким образом, получает ровно столько пищи и столько времени на отдых, сколько необходимо для поддержания его работоспособности».

III

Надеюсь, моему читателю известно, что у муравьев развита практика садоводства и сельского хозяйства, что они весьма преуспели в разведении грибов, что им удалось приручить (по данным современных исследований) 584 вида насекомых, что они прокладывают туннели в монолитных скалах и, предчувствуя неблагоприятную перемену погоды, принимают меры, чтобы обезопасить здоровье своих детенышей, а также что для насекомых у них невероятно большая продолжительность жизни – у некоторых видов она составляет годы.

Но не об этом я хотел бы поговорить подробно. Гораздо интереснее тот факт, что муравьи отличаются до невозможности пристойным и добропорядочным поведением^[55]. Наши самые строгие представления о нравственности не идут ни в какое сравнение с этикой муравьев, которая существовала и развивалась миллионы лет... Говоря «муравьи», я подразумеваю самые высокоразвитые их виды, а конечно же не все муравьиное семейство. Известно около двух тысяч видов муравьев, и социальные структуры, созданные их представителями, находятся на разных уровнях эволюции. Изучать определенные

социальные феномены величайшей биологической важности, равно как и особенности муравьиной этики, есть смысл лишь на примерах сообществ муравьев, опередивших своих сородичей на эволюционном пути.

После всего написанного в последние годы о возможном использовании муравьями приобретенного за долгую жизнь опыта, полагаю, мало кто осмелится отрицать, что эти насекомые наделены индивидуальностью. Способность муравьев преодолевать трудности и постоянно возникающие новые препятствия, а также приспособляемость к совершенно непривычным для них условиям доказывает, что у этих созданий в достаточной степени развито независимое мышление. По поводу их личностных свойств можно со всей определенностью сказать лишь то, что среди муравьев нет особей, склонных к корыстным, эгоистическим поступкам. Жадный муравей, сластолюбивый муравей, муравей, коего можно заподозрить в каком-либо из семи смертных грехов, или муравей, коему присущи совсем незначительные слабости, – это нонсенс. В равной степени, разумеется, нельзя представить себе и муравья-романтика, муравья-поэта или муравья, предающегося метафизическим размышлениям. Ни один человеческий разум не может настолько отрешиться от эмоций и воображения, никто из людей не способен выработать сугубо практический образ мыслей, присущий муравью. И этот сугубо практический образ мыслей исключает возможность нравственного падения. Конечно, трудно было бы доказать, что муравьи не имеют понятия о религии. Но вполне очевидно, что они в ней и не нуждаются. Существом, лишенным моральных слабостей, не требуются духовные наставления.

Мы можем лишь строить предположения о структуре муравьиного общества и о его морали, при этом нам придется вообразить себе некий уклад и некие нравственные установки, пока еще не существующие в жизни и в умах людей. Итак, представим себе мир, населенный созданиями, которые непрестанно и самоотверженно трудятся, – и все они без исключения принадлежат к женскому полу. Ни единая из этих дам не съест ни на грамм больше того, что необходимо ей для поддержания жизненных сил, и не проспит ни на

секунду дольше, чем нужно для нормального функционирования ее нервной системы. Организм этих созданий устроен настолько особенным образом, что любая самая незначительная и неуместная поблажка может вызвать сбой в его работе.

Ежедневная деятельность, осуществляемая самками муравьев, включает в себя прокладывание дорог, строительство мостов, заготовку древесины, архитектурное проектирование различных сооружений, садоводство и огородничество, кормление сотен видов прирученных насекомых и уход за ними, производство разнообразных химических веществ, консервацию и хранение запасов пищи и заботу о юном поколении. Все это делается для муравейника, чьим обитателям чуждо понятие «частная собственность», они работают исключительно ради *res publica*^[56]. И главная общественная задача тут – кормление и обучение молодняка, по большей части состоящего из самок. Период «детства» у муравьев продолжается долго, малыши в течение длительного отрезка времени не только беспомощны, но и бесформенны, а вдобавок настолько хрупки, что их приходится тщательно оберегать от малейших температурных колебаний. К счастью, воспитательницы умеют заботиться о здоровье детей: каждая обладает исчерпывающими знаниями о вентиляции, дезинфекции, дренаже, необходимом уровне влажности и об опасности бактерий, которых муравьи, вероятно, видят невооруженным глазом не хуже, чем мы – под микроскопом. Разумеется, и надлежащие гигиенические процедуры им досконально известны – воспитательницы строго блюдут санитарные нормы.

Невзирая на непрестанные труды и заботы, рабочие муравьи всегда опрятны, ибо несколько раз в день тщательно совершают туалет; природа снабдила их конечности удобными щетками и расческами, поэтому труженицам нет нужды тратить время, удаляясь в туалетную комнату. Содержать в чистоте рабочие муравьи обязаны не только самих себя – ради здоровья молодняка в безупречном порядке пребывают их жилища и сады. Нарушить ежедневную рутину, состоящую из уборки, протирки пыли, мытья и дезинфекции, могут разве что землетрясение, извержение вулкана, наводнение или внезапно вспыхнувшая война.

IV

А теперь перейдем к весьма примечательным фактам.

Муравьиный мир самоотверженного труда нельзя назвать миром весталок. В муравейнике есть и самцы, но их можно увидеть лишь в определенное время года, и у них нет ничего общего с рабочими самками, да и к самой работе их не подпускают. Никто из самцов с труженицами не общается – разве что в чрезвычайных ситуациях, когда муравейнику грозит смертельная опасность. И труженицам тоже не приходит в голову общаться с самцами, поскольку в диковинном мире этих насекомых самцы – низшие существа, не годные к тому, чтобы работать и сражаться. Их здесь терпят как «необходимое зло». До самцов снисходит лишь один особый вид муравьиных самок – матки; в течение очень короткого периода в конкретный сезон они совокупляются с самцами. Но муравьиные матки не работают, их обязанность – продление рода. А рабочие самки ни за что не станут проводить время в компании самцов, и не потому, что в муравьином обществе это было бы расценено как бессмысленная потеря времени, и даже не потому, что рабочие самки смотрят на самцов с невыразимым презрением. Причина в том, что рабочие самки не способны к спариванию. И хотя некоторым из них присущ партеногенез – их детеныши развиваются из неоплодотворенных яиц, – в большинстве случаев причислить рабочих муравьев к женскому полу можно лишь на основании их нравственных инстинктов: они наделены нежностью, терпением и даром предчувствия, при этом их половые признаки исчезли, как у девы-дракона из буддийской легенды.

Для защиты от хищников и от врагов общества у рабочих муравьев есть оружие; кроме того, их охраняет внушительная армия. Муравьи-солдаты настолько превосходят в размерах муравьев-рабочих (у некоторых муравьиных семейств), что на первый взгляд кажется, будто они никак не могут принадлежать к одному виду. Встречаются солдаты в сотню раз крупнее особей, которых они охраняют. И все эти солдаты – амазонки, то есть правильнее было бы сказать, полусамки. Из них могли бы получиться неутомимые труженицы, но муравьи-солдаты рождаются для сражений и поднятия тяжестей, так что общество

использует их в тех областях деятельности, где нужна прежде всего сила, а не особые навыки.

(Ответить на вопрос, почему эволюция выбрала на роль рабочих и солдат именно самок, не так просто, как кажется. Мне, по крайней мере, это вряд ли удастся. Могу лишь предположить, что выбор обусловлен естественными причинами. У многих видов животных самки гораздо больше и активнее самцов; возможно, поэтому муравьиные самки, пользуясь изначально заложенным в них богатым ресурсом жизненной силы, сумели быстрее и эффективнее создать особую воинскую касту. Вся энергия, которая у репродуктивной особи расходуется на продолжение рода, в ходе эволюции, судя по всему, превратилась у одних бесплодных самок в боевую агрессию, у других – в удивительную работоспособность.)

Маток в муравейнике очень мало, и чтят их как королев. О матках пекутся неусыпно и благоговейно, так что им даже не приходится выражать свои пожелания. Они избавлены от всех хлопот и обязанностей, за исключением одной – приносить потомство. Денно и ночью о них заботятся, снабжая всем необходимым. Только матки обеспечены едой в изобилии – ради расплода они должны хорошо питаться, вдоволь пить и отдыхать по-королевски. Особое физиологическое предназначение позволяет им пользоваться всеми благами существования *ad libitum*^[57]. Они редко покидают свои владения, но если уж выходят куда-нибудь, их сопровождает пышная свита, дабы уберечь от усталости и опасностей. Вокруг них сосредоточена вся жизнь муравейника; вся трудовая деятельность и экономия припасов осуществляется ради маток и их отпрысков.

Самое низшее и ничтожное сословие в муравейнике – «необходимое зло» – самцы, супруги муравьиных маток. Они появляются, как я уже говорил, в определенное время года, и жизнь их очень коротка. Некоторые кавалеры, допущенные в королевскую опочивальню, даже не могут похвастаться приличным происхождением, ибо они являются плодом партеногенеза – таинственного атавистического механизма природы, – и отчасти поэтому считаются существами низшего порядка. Из всего выводка самцов сообщество принимает лишь малое количество – тех, кто предназначен в женихи королеве, и все эти избранники погибают сразу после исполнения своего долга. Закон природы в удивительном мире муравьев созвучен утверждению

Рёскина^[58] о том, что всякая жизнь без труда есть преступление. Поскольку самцы непригодны к работе и воинским обязанностям, их жизнь имеет лишь сиюминутную ценность. Разумеется, никто не приносит их в жертву, уподобляясь ацтекам, которые избирали невесту для своего бога Тескатлипоки, а по прошествии двадцатидневного медового месяца вырывали ей сердце. Но судьба муравьиных самцов не намного счастливее. Представьте себе юношу, воспитанного в четком осознании того, что его предназначение – стать супругом королевы на одну-единственную ночь и что после этой брачной ночи он потеряет моральное право жить дальше. Свадьба, таким образом, будет для него предвестием смерти, и он не сможет утешиться даже тем, что молодая вдова прольет по нему слезы, – вовсе нет, она не заметит потери и переживет его на долгое время, за которое сменится множество поколений...

V

Однако все вышеизложенное – лишь пролог к истинной похвале миру насекомых.

Самое поразительное открытие, связанное с цивилизацией муравьев, свидетельствует о том, что у них упразднены отношения полов. У некоторых наиболее развитых видов секс отсутствует в жизни большинства особей, и почти во всех высокоорганизованных муравьиных сообществах он практикуется исключительно с целью продолжения рода. Но еще поразительнее сопутствующий этому биологическому факту психологический момент: отказ от сексуальной активности или ее строгое регулирование сугубо добровольны! По крайней мере, если это не волеизъявление отдельных особей, то уж точно свободный выбор, сделанный видом в процессе эволюции. Современные исследователи полагают, что муравьи, эти примечательные создания, научились развивать сексуальное влечение или останавливать его развитие у подрастающего молодняка с помощью специального питания. Им удалось взять под контроль то, что принято считать самым мощным и неуправляемым инстинктом. И это строгое ограничение половой активности, не препятствующее, однако, поддержанию численности вида, – лишь один из пунктов

экономии жизненных ресурсов в длинном списке, составленном муравьями. Всякая склонность к эгоистическим удовольствиям точно так же подавляется на физиологическом уровне, как и половое влечение. Потворство естественным желанием здесь приветствуется, только если их исполнение может прямым или опосредованным образом принести пользу биологическому виду; даже насущная потребность в пище и сне удовлетворяется ровно настолько, насколько это необходимо для восстановления сил и здоровья. Индивид в муравьином социуме может существовать, действовать и мыслить исключительно ради общего блага, и весь социум, насколько ему позволяет космический закон, отказывается от попыток создать мир, которым будут править Любовь или Голод.

Большинство из нас воспитаны в убеждении, что никакая цивилизация не может существовать без религиозной веры, то есть без некой надежды на воздаяние в будущем или некоего страха перед грядущим наказанием. Мы привыкли думать, что в отсутствие нравственных законов и хорошо подготовленных стражей порядка, следящих за их соблюдением, все и каждый станут заботиться лишь о собственной выгоде в ущерб ближним. Сильные быстро возьмут власть над слабыми, жалость и сострадание исчезнут, и вся цивилизация развалится, как карточный домик... Подобное убеждение основано на мысли о том, что человеческая природа несовершенна, и в этом, безусловно, заключена истина. Но люди, первыми провозгласившие эту истину тысячи и тысячи лет назад, даже вообразить себе не могли такой вид общественного устройства, при котором эгоистическое поведение невозможно *в принципе*. Теперь же мир дикой природы, лишенный религиозных представлений, дал нам доказательство того, что все-таки *можно* построить общество, где радость бескорыстного созидания отменяет само понятие долга, где нравственность, заложенная на уровне инстинктов, не нуждается в моральных кодексах и прочих правилах поведения, где каждый индивид от рождения абсолютно лишен эгоистических устремлений и настолько чист помыслами, что любые духовные наставления, даже в самом раннем возрасте, стали бы для него пустой тратой времени.

Эволюциониста все эти факты неизбежно приведут к выводу о том, что ценность наших нравственных идеалов преходяща, и при определенных условиях их может заменить нечто лучшее, чем

добродетель, лучшее, чем доброта, лучшее, чем самопожертвование в нашем современном понимании. Эволюционист задастся вопросом, не способна ли цивилизация, у которой отсутствует понятие морали, превзойти в нравственном отношении цивилизацию, основанную на строгих этических нормах. Он непременно задумается, не указывает ли наличие у нас религиозных заповедей, нравственных законов и этических стандартов на то, что наше общество пока еще остается на весьма низком уровне социальной эволюции. И эти вопросы приведут его к другому, самому важному: удастся ли человечеству на этой планете когда-нибудь достичь этических высот за пределами устоявшихся идеалов – таких высот, где то, что мы сейчас называем злом, просто перестанет существовать, а то, что мы зовем добродетелью, превратится в инстинкт, и тогда в этом альтруистическом обществе любые моральные кодексы сделаются столь же бесполезными, как бесполезны они ныне в обществах высокоразвитых видов муравьев.

Современные мыслители не обошли этот вопрос вниманием, и величайшие из них ответили на него, некоторые – положительно. Герберт Спенсер выразил надежду, что человечество все-таки сумеет построить цивилизацию, этически не уступающую той, что уже создана муравьями:

«Если в животном мире, у низших отрядов, мы наблюдаем такие коренные преобразования изначальной природы, в результате которых альтруистические поступки индивидов перестают отличаться от эгоистических, можно не сомневаться, что подобное слияние частных и общественных интересов при тех же условиях может произойти и в человеческом обществе. Социальные насекомые в избытке снабжают нас при мерами для подражания – и эти примеры наглядно демонстрируют, какого высокого уровня жизни может достичь индивид, посвятивший себя заботе о других индивидах... Ни муравей, ни пчела не обременены чувством долга – в том значении, какое слову «долг» придаем мы; ни муравья, ни пчелу нельзя заподозрить в том, что они страдают от необходимости постоянного самопожертвования – в нашем понимании этого слова... [Факты] свидетельствуют о том, что создание определенного уклада жизни может преобразовать природу индивида, и он будет стремиться к альтруистическим целям столь же активно, и даже активнее, чем при иных обстоятельствах стремился бы

к удовлетворению эгоистических потребностей. Факты также свидетельствуют, что в некоторых случаях альтруистические цели достигаются в процессе воплощения эгоистических желаний. И ради нужд общества подобные желания, способствующие всеобщему благу, должны приветствоваться... До сих пор в человеческом обществе забота индивида о себе самом ставится превыше заботы о других, но есть надежда на перемены в будущем, когда социум достигнет того уровня развития, при котором забота об окружающих станет служить неисчерпаемым источником удовольствия, превосходящего удовлетворение от достижения эгоистических целей... И тогда со временем эгоизм и альтруизм настолько сблизятся, что вскоре разница между ними исчезнет».

VI

Конечно, предсказание Герберта Спенсера не означает, что в результате кардинальных психологических изменений произойдет социальное расслоение всего человечества на касту воинов и касту рабочих, уже существующие в обществе муравьев. Нас не призывают представить себе человечество будущего, в котором трудолюбивое большинство, состоящее из полуженщин-рабочих и воинственных амазонок, обслуживает меньшинство, то есть горстку праздных многодетных матерей. Даже в своей главе «Человеческая популяция в будущем» мистер Спенсер не углубляется в подробности физических модификаций, неизбежных в процессе рождения высоконравственного вида, хотя его общие рассуждения о развитии и совершенствовании нервной системы, а также о значительном снижении плодовитости человека, позволяют заключить, что моральная эволюция все же повлечет за собой заметные физиологические изменения. Но если мы допускаем, что в будущем люди станут получать удовольствие от совместного труда ко взаимной выгоде, и это составит всю радость их жизни, почему бы не допустить и другие трансформации, физические и моральные, ведь биологические особенности муравьев доказывают нам, что эволюция на это способна?.. Не знаю. Я с безмерным почтением отношусь к Герберту Спенсеру, ценю его как величайшего философа в мире, и мне крайне не хотелось бы писать что-то

противоречащее его взглядам в данном контексте, ибо читатель может решить, что и свои возражения я тоже почерпнул из «синтетической философии» Спенсера. Потому сразу уточню, что за нижеизложенные рассуждения в ответе я один, и, если они ошибочны, да будет сей грех исключительно на моей совести.

Я полагаю, что нравственное преобразование, предсказанное мистером Спенсером, возможно только при условии физиологических изменений, и человечеству оно дорого обойдется. Уровень этики, демонстрируемый сообществами некоторых видов насекомых, был достигнут ценой отчаянных усилий, прилагавшихся на протяжении миллионов лет по жесточайшей необходимости. С подобной жесточайшей необходимостью рано или поздно может столкнуться и род человеческий. Мистер Спенсер предупреждает нас, что пора великих испытаний у человечества еще впереди и что грядущие испытания будут вызваны увеличением численности населения планеты. Среди прочих последствий длительного периода невзгод, я думаю, окажется заметный рост уровня интеллекта и взаимопонимания в обществе, а вырастет интеллект за счет уменьшения плодовитости человека. Но снижения репродуктивной способности и рождаемости будет недостаточно для появления благоприятных социальных условий – таким образом удастся лишь отчасти решить проблему перенаселенности, которая станет главной причиной всех бед. Человечество сумеет приблизиться к установлению равновесия в обществе, к социальной гармонии, но так и не достигнет идеала – *до тех пор, пока не будет найдено решение экономических проблем, не уступающее по эффективности тому, что придумали социальные насекомые, избавившиеся от этих проблем за счет устранения сексуального влечения.*

Предположим, решение найдено – человечество сделало открытие и тоже может остановить развитие половой системы у большинства представителей подрастающего поколения, вследствие чего все силы, которые люди тратят на личную жизнь, будут уходить на развитие высшей нервной деятельности. Не приведет ли это к ярко выраженному полиморфизму, как у муравьев? И в таком случае не будут ли представители новой расы, появившейся в результате эволюции скорее женского типа, нежели мужского, в большинстве своем бесполой?

Учитывая, как много людей уже сейчас по религиозным и прочим соображениям, не имеющих ничего общего с эгоизмом, воздерживаются от сексуальных контактов, нельзя исключать, что на более высоком уровне развития человечество с готовностью пожертвует изрядной частью своей половой жизни ради всеобщего блага, особенно если это принесет ему определенные преимущества. Одним из возможных преимуществ – при условии, что люди научатся контролировать размножение по примеру муравьев, – станет баснословное долголетие. Самые высокоразвитые представители человечества, обуздавшего половой инстинкт, сумеют воплотить извечную мечту о жизни, длящейся тысячи лет.

Нам уже сейчас кажется, что жизнь слишком коротка для выполнения всего намеченного, а с течением времени, в условиях ускоряющегося научного прогресса и непрестанно растущего массива знаний, у нас будет появляться все больше причин пожалеть о мимолетности своего существования. Вероятность того, что научный прогресс принесет нам эликсир вечной молодости, который искали, да не нашли алхимики, крайне мала. Природа не позволит себя обмануть. Ибо за любое полученное преимущество следует расплатиться сполна; ничто не дается даром – таков ее извечный закон. И может статься, за долголетие она потребует у нас ту же цену, что уже заплатили муравьи. А еще возможно, что на какой-нибудь планете постарше нашей эта цена человечеством тоже давно заплачена и способностью производить потомство там обладает особая каста, морфологически отличающаяся от всех прочих представителей вида настолько, что и вообразить себе нельзя...

VII

Раз уж биология насекомых помогла нам представить дальнейший ход эволюции человека, быть может, она подскажет и что-нибудь важное о связи между земной этикой и космическим законом? Наверное, существам, склонным к тому, что человеческая мораль осуждала во все времена, не дано достичь высшего уровня развития. Очевидно, нет ничего сильнее бескорыстия и самоотверженности, а потому верховная власть никогда не достанется тем, чьи поступки

диктуются жестокостью и похотью. Возможно, боги не существуют, но силы, придающие форму всему сущему и разрушающие ее, куда суровее богов. Прочсть их намерения по звездам мы не сумеем, однако космические процессы, судя по всему, находятся в согласии с теми системами ценностей, которые не ставят во главу угла эгоизм.





Примечания

1

Герберт Спенсер (1820–1903) – английский мыслитель, автор «Системы синтетической философии», социолог и один из основоположников эволюционизма. *(Примеч. пер.)*

[Вернуться](#)

2

Второе название этого острова в Ионическом море – Лефкада; в честь него Хирн и получил имя, которое по-гречески произносится Лефкадиос. *(Примеч. пер.)*

[Вернуться](#)

3

Описание сих примечательных крабов приведено в моей книге Kotto. *(Примеч. авт.)*

[Вернуться](#)

4

Или Симоносэки. Этот город также известен под названием Баккан. *(Примеч. авт.)*

[Вернуться](#)

5

Бива – четырехструнная японская лютня; она используется в основном для аккомпанемента речитативов. В давние времена

профессиональных музыкантов-сказителей, читавших нараспев «Хэйкэ-моногатари» и другие трагические повести, называли *бивахоси*, то есть «монахи-лютнисты». Почему именно «монахи» – не вполне ясно. Возможно, потому, что такие сказители, равно как и слепые массажисты, брили голову по примеру буддийских монахов. На биве играют с помощью плектра, который называется *бати* и, как правило, изготавливается из рога. (Примеч. авт.)

[Вернуться](#)

6

Вежливая просьба открыть ворота. Самураи так обращались к стражникам, когда хотели попасть в дом своего господина. (Примеч. авт.)

[Вернуться](#)

7

В японском тексте употреблено слово «аварэ», что означает «светлая грусть». (Примеч. авт.)

[Вернуться](#)

8

Так называется по-японски «Праджняпарамита хридая сутра» («Сутра сердца совершенной мудрости»). Что же касается описанного в японском кайдане применения этого священного текста в магических целях, будет уместно упомянуть, что сутра содержит в себе учение о пустоте форм, то есть о нереальности всего сущего. (Примеч. авт.)

[Вернуться](#)

9

В давние времена на Востоке эти птицы служили символом счастливого брака и взаимной привязанности. (Примеч. авт.)

[Вернуться](#)

10

В третьей строке этого стихотворения есть патетический двойной смысл. Если записать название Аканума – «красная топь» – другими знаками, получится «акану-ма», что означает «времена нашего неразлучного (сладостного) союза». Так что стихотворение можно перевести и так: «Когда солнце клонилось к закату, позвала я тебя за собой... А ныне, вспоминая счастливые дни, проведенные нами вместе, как горестно спать одной в тени тростника». Макомо – вид тростника, из которого плетут корзины. (*Примеч. авт.*)

[Вернуться](#)

11

Суффикс «сама» в японском языке добавляется к фамилии для выражения величайшего почтения. (*Примеч. пер.*)

[Вернуться](#)

12

Дзокумё – это личное имя, принадлежавшее человеку при жизни, в отличие от *каймё* и *хомё* – посмертных имен, которые пишут на могильных камнях и поминальных табличках в храмах. (*Примеч. авт.*)

[Вернуться](#)

13

Буцудан – буддийский домашний алтарь. (*Примеч. авт.*)

[Вернуться](#)

14

Фудо – мёо – японское имя Ачалы – грозного божества-защитника (дхармапалы) в буддизме Ваджраяны. (Примеч. пер.)

[Вернуться](#)

15

Цуба – гарда японских мечей, то есть пластина между лезвием и рукоятью, защищающая руку. (Примеч. пер.)

[Вернуться](#)

16

В буквальном переводе «голодный дух, пожирающий людей». В японском источнике приведено также слово на санскрите – «ракшаса», но оно столь же многозначно, как и «дзикининки», поскольку существуют десятки видов ракшас. Вероятно, здесь имеется в виду один из *барамон-расэцу-гаки*, двадцати шести претов, то есть голодных духов, перечисленных в древних буддийских текстах. (Примеч. авт.)

[Вернуться](#)

17

Лафкадио Хирн употребил здесь слово «лиги» (leagues), но более уместна будет не английская, а японская традиционная мера длины. Ри – единица измерения расстояния, равная 3,927 км. (Примеч. пер.)

[Вернуться](#)

18

Служба сэгаки – особый буддийский поминальный обряд, который совершается для человека, предположительно переродившегося в *гаки* – прету, то есть голодного духа. Краткое описание этой службы приведено в моей книге *Japanese Miscellany*. (Примеч. авт.)

[Вернуться](#)

19

Буквально «камень о пяти кругах» или «пятичастный камень». Погребальный памятник, состоящий из пяти камней разной формы, положенных один на другой и символизирующих пять элементов: эфир, воздух, огонь, воду и землю. (Примеч. авт.)

[Вернуться](#)

20

О – дзётю – вежливая форма обращения к незнакомой девушке. (Примеч. авт.)

[Вернуться](#)

21

Период правления под девизом Эйкё продолжался с 1429-го по 1441 год. (Примеч. авт.)

[Вернуться](#)

22

Коромо – верхняя одежда буддийского монаха. (Примеч. авт.)

[Вернуться](#)

23

Ро – так называется углубление в полу для разведения огня. Как правило, оно имеет квадратную форму и выстилается изнутри железом; на дне ро оставляют слой пепла, в котором тлеют угли. (Примеч. авт.)

[Вернуться](#)

24

Миягэ – так называют подарки, которые принято преподносить друзьям и домочадцам, возвращаясь из путешествия. Разумеется, в большинстве случаев миягэ представляют собой какие-нибудь диковинки из тех мест, где путешественник побывал. В этом и заключается суть замысла Кайрё. (*Примеч. авт.*)

[Вернуться](#)

25

Час Крысы (*Нэ-но-коку*) в старинной японской системе счисления времени был первым часом суток и соответствовал промежутку с полуночи до двух часов утра по европейской системе. Один японский час, таким образом, равнялся двум европейским. (*Примеч. авт.*)

[Вернуться](#)

26

Каймё – посмертное буддийское духовное имя. (*Примеч. авт.*)

[Вернуться](#)

27

То есть участок пола площадью около шести квадратных футов. (*Примеч. авт.*)

[Вернуться](#)

28

Это имя означает «снег», и оно довольно распространенное. См. главу о японских женских именах в моей книге *Shadowings*. (*Примеч. авт.*)

[Вернуться](#)

29

Имя означает «зеленая ива»; девочек в Японии и сейчас так называют, но довольно редко. (Примеч. авт.)

[Вернуться](#)

30

Стихотворение можно истолковать двояко, некоторые строчки в нем имеют подтекст. Однако разбор особенностей его структуры потребует пространных объяснений, которые вряд ли заинтересуют западного читателя. Смысл, вложенный в пятистишие Томотадой, примерно таков: «Я собирался навеститься к матери, но по дороге встретил девушку, прекрасную, как цветок, и ради нее задержался на целый день. Красавица, почему я вижу румянец рассвета на твоих щеках, хотя еще далеко до утра? Не значит ли это, что и я тебе приглянулся?» (Примеч. авт.)

[Вернуться](#)

31

Возможно и другое прочтение, но в таком переводе есть прямой отклик на предыдущее стихотворение. (Примеч. авт.)

[Вернуться](#)

32

Так утверждает японский сказитель, хотя в переводе стихотворение кажется довольно банальным. Впрочем, я лишь попытался передать общий смысл – доскональный перевод требует определенных навыков. (Примеч. авт.)

[Вернуться](#)

33

«Нэмбуцу», или «Намо Амида-буцу», – японский вариант буддийской мантры «Взываю к будде Амитабхе». Будда Амитабха (Амида) – создатель Сукхавати, «земли блаженства», где стремятся возродиться верующие, обращаясь к нему в молитвах. (*Примеч. пер.*)

[Вернуться](#)

34

Происхождение названия Токоё неясно. Исходя из контекста, оно может обозначать некую неведомую страну – затерянные земли, откуда никто не возвращается, место, которое в западноевропейских сказках упоминается как «волшебная страна» или «страна фей», а в японских – «царство Хорай». Слово «кокуо» переводится как «правитель страны». Соответственно, эквивалентом японскому словосочетанию «Токоё-но кокуо», скорее всего, будет «государь неведомого царства». (*Примеч. авт.*)

[Вернуться](#)

35

Последние слова в подобных дуэтах, по старинному обычаю, оба участника произносят хором. Такие ритуальные речитативы можно и сейчас услышать в спектаклях традиционного японского театра. (*Примеч. авт.*)

[Вернуться](#)

36

Дайдзе – так назывался помост, который феодальные князья занимали на официальных мероприятиях. Японское слово «дайдза» буквально означает «большое сиденье». (*Примеч. авт.*)

[Вернуться](#)

37

Кана – японская слоговая азбука. (*Примеч. пер.*)

[Вернуться](#)

38

Фуросики – квадратный отрез хлопковой или другой ткани, в который заворачивают небольшие предметы, то есть делают из него узелок для переноски. (*Примеч. авт.*)

[Вернуться](#)

39

Ведьмины круги – круги на земле, образующиеся при росте мицелия некоторых грибов. (*Примеч. пер.*)

[Вернуться](#)

40

Гоблины – сверхъестественные существа из западноевропейской мифологии; они умеют принимать человеческий облик, живут под землей и боятся солнечного света. (*Примеч. пер.*)

[Вернуться](#)

41

Слова написаны поэтом Томасом Муром (1779–1852) на ирландскую народную мелодию. (*Примеч. пер.*)

[Вернуться](#)

42

Евангелие от Иоанна, 15: 13. (*Примеч. пер.*)

[Вернуться](#)

43

Крашоу Ричард (1613–1649) – английский поэт, прославившийся сочинениями на религиозные темы. (*Примеч. пер.*)

[Вернуться](#)

44

Согласно Евангелию от Иоанна, Иисус Христос, приглашенный на свадьбу в Кане Галилейской, превратил воду в вино. (*Примеч. пер.*)

[Вернуться](#)

45

«Робкая нимфа, Бога узрев, покраснела». Другой, общепринятый, вариант перевода: «Робкие воды, Бога узрев, покраснели». В этой строчке обыгрывается двойной смысл слова *пумpha*, которым античные поэты обозначали и божество источников (водную нимфу), и сами источники. Японская поэзия тоже строится на изысканной игре слов. (*Примеч. авт.*)

[Вернуться](#)

46

Заблуждение, вероятно пришедшее из Китая и с давних времен бытующее в Японии. (*Примеч. авт.*)

[Вернуться](#)

47

Прозвище происходит от слов *мино* (соломенная накидка от дождя, на которую похож кокон личинки бабочки) и *муси* («насекомое»). Словарь дает перевод «мешочница». Не вполне уверен, что это правильно; впрочем, гусеницы, называемые в Японии «миномуси»,

действительно, окуклившись, становятся похожи скорее на мешок, чем на соломенный дождевик. (*Примеч. авт.*)

[Вернуться](#)

48

Дайкон – съедобный корнеплод, подвид редьки. (*Примеч. пер.*)

[Вернуться](#)

49

Pyrus spectabilis. (*Примеч. авт.*)

[Вернуться](#)

50

Парари – парари – звукоподражание шуму дождя в японском языке, «кап-кап». (*Примеч. пер.*)

[Вернуться](#)

51

Ма – злой дух. (*Примеч. авт.*)

[Вернуться](#)

52

Панфлейтой, или флейтой Пана, называют духовой инструмент, состоящий из нескольких трубок различной длины. (*Примеч. пер.*)

[Вернуться](#)

53

Мэйдзи – девиз правления императора Муцухито с 1868 по 1912 г. В этот период кардинальных преобразований Япония отказалась от самоизоляции и феодального уклада жизни. (Примеч. пер.)

[Вернуться](#)

54

За неимением лучшего (фр.).

[Вернуться](#)

55

Любопытно, что японское слово *ари* – «муравей» – записывается китайским иероглифом, состоящим из двух частей, одна из которых означает «насекомое», а вторая – «нравственность», «беспорочность» (как отдельный иероглиф эта часть читается *гири*). То есть, по сути, китайский иероглиф «муравей» означает «беспорочное насекомое». (Примеч. авт.)

[Вернуться](#)

56

Общее дело (лат.).

[Вернуться](#)

57

Без ограничений, сколько угодно (лат.).

[Вернуться](#)

58

Рёскин Джон (1819–1900) – английский писатель и теоретик искусства. (Примеч. пер.)

[Вернуться](#)